О Юре Шатунове и других

Сергей Борисович Кузнецов

SHOUT
SHARE
IT

- Кузнецов Сергей
  - Глава 1. А вместо глаз у Чудовища лампочки
  - Глава 2. Крест на звездах
  - Глава 3. У циркуляки звук немузыкальный
  - Глава 4:
  - Глава 5. Метель в чужом Тюльгане
  - Глава 6. Песня с привкусом… гидропирита
  - Глава 7. Жалко так…
  - Глава 8. Лево руля?
  - Вместо последней главы:
  - И, в заключение

Кузнецов Сергей
О Юре Шатунове и других

Глава 1. А вместо глаз у Чудовища лампочки

Когда-то средневековые глашатаи, извещая народ о смене в королевской династии, громко кричали на городских площадях: «Король умер! Да здравствует король!».

Народ горевал, что нет уже в живых старого правителя, и радовался приходу нового.

Если бы мой уход из «Ласкового мая» не был обставлен скандалами, исковыми заявлениями, оскорбительными выпадами его нынешних руководителей, я бы известил поклонников о своем разрыве с группой с помощью того же ораторского приема древних глашатаев. Только поменял бы местами печаль и радость: «Да здравствует разинский «Ласковый май»! Мой «Ласковый май» умер…»

А может, и не стал бы выпендриваться. Умер — ну и умер. Жизнь-то все равно продолжается, и есть у меня теперь новый коллектив — «Мама», любимая «Мамка».

Отношений ни с Шатуновым, ни с Разиным я теперь не поддерживаю. Лишь иногда случайно сталкиваемся в «Рекорде», в студии Чернавского, где и они, и мы пишем свои альбомы.

А недавно я был на концерте «Ласкового мая». Не то, чтоб во мне жгучая ностальгия по прошлому разыгралась… Все прозаичнее. Они сперли несколько наших песен, которые мы с Прико записали — и мне хотелось послушать, как эти песни звучат в их исполнении.

Концерты шли в спорткомплексе «Олимпийский». Я зашел в кассы. Как путевый, взял билет. Шесть рублей не пожалел…

Тайком, чтобы никто не узнал, проник в зал.

Послушал.

Концерт как концерт. Штамповка. Только оформлен очень красиво. (Нам до такого оформления далеко. «Мама» у нас пока в серых, далеко не от Кардена, провинциальных одеяниях.)

И песенки мои неплохо прозвучали. Думал, что они хоть свою аранжировку сделают. Нет. Даже аранжировка моя осталась.

Андрей Александрыч были не в ударе, говорили мало, хотя Разин на концертах обычно любит порассуждать.

Публика, естественно: «Ур-ра! Ан-дрю-ша! Ю-роч-ка! Ур-ра!» — кричала. А я спокойненько потягивался в кресле, радуясь за своих коллег.

Были, конечно, мгновения, когда сквозь скорлупу

профессионального интереса к концерту вдруг прорывалось очень личное. Отголоски каких-то обид, теплые воспоминания о том, что навсегда ушло в прошлое, сожаление о шатуновском предательстве. Но я приказал себе не расслабляться, не уподобляться неистовым фанатам, которые оттягивались на всю катушку, не стесняя себя в эмоциональных проявлениях.

Дослушал концерт почти до конца.

Порадовался за «Ласковый май», за коллег по эстраде: молодцы, держатся…

И отправился, было потихонечку домой — жить себе дальше, работать, грустить и радоваться. Засыпать мертвецким сном после удачно сработанной песни и пропущенного по этому поводу стопарика. Или бессонно ворочаться в неясном предчувствии новой песни.

Но только выбрался в фойе, как был бесславно узнан. Никудышный из меня конспиратор. Разве специалист плаща и маски стал бы налаживать свой маршрут мимо служебного входа, мимо входа за кулисы? Разве забыл бы он, что там подкарауливают своего кумира, своего ненаглядного Юрочку, самые преданные поклонницы «ЛМ»? У которых молниеносная реакция. Которые помнят в лицо всех, кто хоть как-то связан с «Ласковым маем» (даже меня, не примелькавшегося на телеэкранах и в газетах Кузю, помнят!). Которые обладают массой информации о группе. Но хотят узнать еще больше.

Вобщем, узнали вашего Кузю. И приперли к стенке.

С поклонниками я обычно не общаюсь. Да и их интерес, как правило, сфокусирован на солистах, — не до меня. Тот ажиотаж, когда рубашку рвали даже на водителе гастрольного автобуса — он уже в прошлом. Сейчас этого нет, и не будет. Да и не нужно этого. Не нужно кумиров. Мы бы были удовлетворены спокойным дружеским интересом к нам.

Но тогда, во время моего «неофициального» похода на концерт, ситуация была обострена недостатком информации, массой слухов о том, что случилось между мной и Разиным, мной и Шатуновым. Так что я попал в водоворот нового всплеска интереса к собственной персоне, в самый его эпицентр. Вопросы посыпались, как четверти в crescendo.

— А, правда, что за вашей спиной самая мощная рекетирская группа?

— А Пахомов с вами еще не поссорился?

— А чей был голос, когда я вам звонила и про Сашу Прико спрашивала?.. Ну, тот, что мне ответил: мол, Саша еще не вернулся с завода, он сегодня во вторую смену, болванки точит. Я тогда его еще обматерила? Может, напрасно обматерила? Может,

тот голос не соврал?

— Обматерила ты его напрасно, — соглашаюсь я. — А чей был голос — откуда мне знать? Я ведь и понятия не имею, по какому телефону ты решила нас искать…

Пока девочка пытается припомнить цифры номера, по которому она пыталась наладить с нами «дружественные» отношения, налетает следующая. Ее вопросец прост как ленинская правда:

— А кто прав?

Отвечаю, обтекаемо:

— Мда… Все, наверное, правы…

— И все же…

— Ну, это долгий разговор… Целую книгу написать надо, чтобы на него ответить. Чтобы люди узнали мою версию событий, сопоставили ее с той, которую Разин имеет — а выводы уж сами делали.

— Так и напишите!.. Пора…

Пора ли? Я надолго задумался.

Конечно, кое-какие записи у меня есть. Есть, в частности, «исторический» блокнот. Там, среди черновиков, среди незаконченных и законченных стихотворений, — несколько страничек с датами. Думаю, что мало кто, кроме меня, помнит эти даты. Уж слишком они личностные… Хотя все относятся к истории «Ласкового мая». Даже если историю только этих дат развернуть в небольшие рассказы — то получится… книжка, не книжка, но представление, откуда заструился по стране тот ручеек, «Ласковый май», и кто возводил плотины на его пути, пытаясь остановить его ток, и кто, в конце концов, свернул ему русло — такое представление возникнет…

— А действительно, напишите книжку! — загорелись девочки. — Только, чур, так, чтобы мы прочитали — и как будто за кулисами побывали. Вы же со всеми «звездами» знакомы, общаетесь с ними…

Я не стал огорчать девочек, что особого желания общаться со «звездами» у меня нет. Не стал объяснять, что сегодня это общение может быть полезным, а завтра — наоборот. Тут свои профессиональные секреты, своя профессиональная психология. Чем популярнее человек, тем большую силу имеет он в определенных кругах, в музыкальных тусовках. Слишком тесное общение со знаменитостями эстрады может вылиться в неприятности. Могут и загасить, если чем не угодил. Например, хочешь в какой-нибудь программе поработать, а работать не будешь, потому что не захочет какая-нибудь капризная «звезда», имеющая на эстрадном рынке астрономический вес. Очень часто

гасят на «ящике», потому что музыкальный и телевизионный мир плотно завязаны. Нашу «Маму» часто и много снимали. Снимут, пообещают: «Все нормально, Кузя! Скоро эфир будет». А никакого эфира… Что-то там срабатывает. Поэтому я не общаюсь со звездами. Кроме тех, с кем близкие, товарищеские отношения. Это Ромка Жуков, Саша Хлопков, еще несколько человек.

Огорчать девочек не стал, но все же риторически спросил:

— А как разочарует вас эстрадная изнанка?..

Мне однажды в детстве такое разочарование испытать пришлось.

Одно время мама работала главным администратором драмтеатра в Оренбурге. И я частенько там тусовался. Был на спектаклях, многие из них наизусть помню — «Забыть Герострата», «Память сердца», «Русские люди»…

После премьер организовывались пышные банкеты. Эта традиция была, есть и, по-моему, еще долго будет жить. Хорошая традиция. Мама брала меня с собой, и я, пыжась от гордости, что нахожусь, в артистической среде, садился где-нибудь за краешек стола с бутылкой газировки и слушал, слушал… И потихоньку стал различать для себя, что актерская профессия — это еще не гарантия доброты, честности, искренности в человеке, что среди актеров есть всякие люди… Но, к счастью, хороших людей в драмтеатре было больше, и первое мое разочарование в театральной изнанке не оставило во мне глубокого следа.

В одном из спектаклей на сцене появлялось жуткое Чудовище. Оно изрыгало из себя огонь и дым, его глаза горели, иглы на хребте стояли дыбом. При появлении Чудовища я каждый раз вжимался в кресло, напрочь отрываясь от реальности. Когда к Чудовищу попривык, — решил рассмотреть его вблизи. Пробрался за сцену, устроил засаду за ящиками с реквизитом и стал ждать. Чудовище последний раз громыхнуло где-то поблизости и устало выкатило на обозреваемый мною пятачок за кулисами. Молния на его брюхе вдруг расстегнулась, и из живота зверины вылез Владимир Яковлевич Бурдаков (я уже познакомился с ним, знал, что это добрый, чуткий человек, хороший артист; недавно он трагически погиб, его подло убили возле самого театра какие-то подонки). Превращение Чудовища в добрейшего человека Владимира Яковлевича очень смутило меня, будто приятней было б, если Чудовище, отыграв свою роль, кинулось бы на меня, клацая всамделишными зубами… Но и это разочарование было мимолетным. Я потрогал шкуру Чудовища, потыкал пальцами в его глаза — лампочки, поискал, куда спрятаны батарейки… и подумал, разве плохо, если внутри каждого чудовища — добрый человек…

Но раз на раз не приходится. Я — про разочарования. Теперь, когда у меня есть кое-какой опыт, я искренне хочу предостеречь тех поклонников эстрады, которые готовы на все — лишь бы прошмыгнуть за кулисы, к своему улыбчивому кумиру. Вместо кумира вас может поджидать там обыкновенное Чудовище, а очаровавшую вас улыбку вы увидите на полу, приклеенной к сброшенному с плеч наряду.

…- Вам понравился концерт? — допрашивали меня поклонницы. — Вы для своей работы взяли что-нибудь отсюда?

— Концерт понравился, — ответил я на прощанье. — А насчет заимствования… Чего я могу для себя взять от себя…

Пока девочки думали над моим ответом, я улизнул от них, в свою очередь, раздумывая над их словами, над их предложением написать книгу. Может, действительно пора?

Дома я нашел тот самый «исторический» блокнот. Раскрыл его на страничке, которую когда-то крупно подписал:

«ГРУППА «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» имени Общественного Транспорта, Настежь Распахнутых Окон и Слезливых Поклонников Самой Несерьезной На Свете Музыки Диско».

Ниже шли даты.

«День рождения «Ласкового мая» — 6.12.86.

Первый распад — 31.03.87.

Второй день рождения -12.09.87.

Выход первого альбома (Шатунов) — 16.02.88.

Второй распад-31.03.88.

Выход второго ролика (с Пахомовым) — 6.05.88.

День рождения левого «Мая» — 4.07.88. (К тому времени я приехал в Москву, к Разину.)

Создание сборного коллектива Шатунов — Пахомов. Начало гастролей — 18.09.88.

Перезапись на «Рекорде» — 1.10.88. (Тогда мы «Белые резь» по новой переписали.).

Приход в группу Прико и Игошина.-3.01.89.

Приезд Славы Пономарева — 11.02.89.

Создание грумы «Мама»-25.03.89.

Первое выступление «Мамы», Питер — 7.05.89». (И приписано «Ура!»).

Все, дальше я ничего не вел, потому что ничего существенного не произошло.

Я долго держал блокнот открытым на этой страничке, уместившей всю историю «Ласкового мая», моего «Ласкового мая», и думал, что если расшифровать все эти даты, — действительно придется писать книжку. А может, стоит ограничиться лишь некоторыми датами? Рас сказать, что стоит за

ними — и будь что будет…

Но начать тогда придется с другой даты: 7 января 1964 года. Ее в блокноте нет. Я и без того это число помню. Это мой день рождения. Если не рассказать о себе, о своем детстве — многое останется непонятным…

Глава 2. Крест на звездах

Лет до двенадцати я очень любил ходить в планетарий. В Оренбурге под него отдали одно из самых лучших зданий — бывший караван-сарай, постоялый двор для азиатских купцов, С высоким белоснежным минаретом, видимым издалека.

Я брал билетик, забивался в прохладное помещение под куполом бывшей мусульманской мечети и слушал лекции, были и небылицы про Космос. Люди, читавшие лекции, сомнениями не страдали. Им было известно абсолютно все: что движет светилами, почему за кометами тянутся хвосты, почему так часто и так необратимо гаснут звезды. Они знали, что бога нет и что предназначение человека — покорить Вселенную. Лекция заканчивалась, и начиналась демонстрация звездного неба. Гас свет. На ободе купола возникали черные силуэты домов, слегка схожие с теми, деревянными в большинстве, что на самом деле раскинулись во все стороны от караван-сарая. Врубался жужжащий аппарат — и на куполе вспыхивали пылинки звезд. Созвездия неторопливо проплывали по известке купола и скатывались куда-то под ноги. А восточная часть мечети занималась розовым… Восход солнца вручную.

Я выходил из планетария, и все, что меня окружало, казалось скучным, пыльным, рутинным. Вот звезды — это да…

Совковые дети — дети подвалов. Заботливая страна отдала им то, чем гордилась по праву все семьдесят лет: свои подземелья. В подвалах работали детские клубы, в подвалах дети занимались спортом, музыкой, театром… Пили и курили, обучались сексуальной азбуке и пробовали на вкус матерные словечки. И меня бы подвалы не обошли стороной, но там не было звезд. Звезды видны были только с крыш.

Одно время мы с мамой жили в Степном поселке, это окраинный район Оренбурга. Несколько лет стояли на очереди — и нам дали хорошую квартиру на девятом этаже нового дома. И раньше, чем свою квартиру, я обжил крышу девятиэтажки. Крыша была любимым местом. На крыше всегда хорошо. Ощущение совсем другое, чем на земле. Ты выше всех, все видишь и от этого как будто все понимаешь. Ну, и звезды…

Мы пропадали на крыше целыми днями. Особенно первое время, когда не работал лифт. На улице делать нечего — и мы с пацанами ходили друг к другу в гости. Но спускаться с девятого этажа не больно-то в кайф, а потом еще на восьмой надо подниматься (у меня друг жил на восьмом)… Поэтому мы друг к другу через верх, через лифтовый люк и крышу. Наши дома

соединялись углом, — через этот угол перелезешь, уняв страх высоты, и снова — нырк в лифтовый люк. Но чаще всего на крыше задерживались. Там у нас была своя детская тусовка: анекдотики рассказывали, курили, спиртное распивали, летом брали с собой гитару. Как видите, занятия от подвальных не очень отличались, но ощущение высоты добавляло им какой-то новый оттенок. Представлялось, когда ты всем этим занимаешься над людьми, почти среди звезд — то на тебя, небожителя, и пальцем показать никто не смеет.

Лифт же помогал нам отлынивать от школы. Возьмем с собой курево, гитару, «мафончик», — садимся в лифт. Едем. А если в нем сильно подпрыгнуть, то он застрянет между этажами, и надолго, чисто по-совдеповски… Все, есть на что сослаться, когда в школе терзать начнут. Сидим в лифте между этажами по три, по четыре часа. Кочумаем. Музыку слушаем.

Из музыки мне в то время нравилась «АББА». Еще — «Бони М». А позже появился «Спейс». «Волшебный полет», альбом 1977 года. До «Спейса» я эстраду «ало слушал, а «Волшебный полет» услышал и о-бал-дел. Но это уже в 13 лет случилось, уже после того крутого перелома, который произошел со мной в пятом классе. И появись «Волшебный полет» на год раньше, до того несчастья, что перевернуло мне душу, может быть, он остался бы и незамеченным.

Когда нам надоедал подвисший между этажами лифт, я брал гитару. Этим инструментом начал баловаться с 12 лет. Брал гитару, ребята откашливались, прочищали горло, и в несколько глоток мы начинали:

— …Что за-зве-нят опять ко-ло-кола-а-а-а,

И ты войдешь в распахнутые две-ери…

Если мелодичная «АББА» не очень действовала на нервы лифтерам, то наше пение врывалось в домоуправление, как смерч, и будило, кого положено. Если не помогали знаменитые «Колокола», пели Токарева, Новикова… Блатнячок-с. Нас освобождали. Хотя других за эти же песни в те времена, наоборот, упрятывали куда подальше.

В детском возрасте формируются все основные понятия. Все склонности, пристрастия, вкусы. Но это в течение жизни может как-то меняться. А вот всю гамму чувств, основной душевный опыт детство дарит раз и навсегда. Если кто-то из друзей нанес тебе психическую травму — горечь этого запомнится на всю жизнь. Если ты влюбился в свои двенадцать — та светлая нежность останется в тебе надолго, навсегда.

Мне кажется, я счастливый человек, потому что мой душевный опыт вроде не зияет прорехами, как голенище валенка,

из которого вырезали пыжи. В детстве у меня были друзья. Тот факт, что с большинством из них я теперь не общаюсь, ни о чем не говорит. Да, друзья, взрослея, могут превратиться в знакомых, просто в знакомых, но чувство, которое объединяло нас маленьких, ни во что превратиться не может. Оно просто есть в тебе — и все. Ты его знаешь, ты его испытал, и если повезет — оно еще не раз может пригодиться… Была у меня в детстве и первая любовь. Правда, неразделенная. Но это тоже ничего не значит. Потому что, какая ни случилась, но любовь пришла вовремя.

Чувства, вынесенные из детства, — это эталон, который не оставляет нас никогда. Поэтому здорово, что в детстве у меня почти все было «как у людей»: смех и слезы, уныние и оптимизм, тревога и беспечность. Иначе не было бы и моих песен, понятных каждому.

Кстати, я бы не хотел, чтобы путали чувства и переживания. Переживания по поводу реальных событий и лиц, с их конкретикой, деталями, с их неуниверсальностью.

Я никогда не пишу о себе. Ничего не заимствую из своих эмоциональных будней. Своих переживаний я в песни не впускаю. Если ты испытал какое-то житейское волнение и хочешь написать об этом песню, — песня не получится. Чем острее ты пытаешься эти переживания выразить, — тем примитивнее они выглядят. К сожалению, многие авторы этого не понимают.

Мои песни рождаются от чужих переживаний. Чаще всего — детских. И от моих чувств.

Каждая песня сама ищет, через какой уголок души ей просочиться в свет: там, где грусть, или там, где радость, там, где любовь, или там, где ненависть…

Главное для песни — пустоты не встретить на своем пути в мир. От пустоты песня погибает.

Горе тому, в ком умирает песня.

Дохлое дело, пытаться оценить свою душу. Наверняка и у меня в душе есть бреши, столкнувшись с которыми песни погибли бы.

Но я знаю свою маленькую особенность, свою маленькую тайну, которая позволяет песням выживать. Есть во мне одно чувство — оно заполняет не определенную часть души, а всего меня, оно затягивает все возможные пустоты.

Я не знаю, как это чувство величают. Возможно, именно оно — то самое неуловимое Шестое… Но я знаю, когда, как и при каких обстоятельствах, оно во мне родились.

Однажды в детстве, как раз в пятом классе, я нашел где-то маленький стерженечек. Думаю, что же это такое… Конденсатор,

наверное… Надо бы подзарядить! В 220 побоялся его включить, решил в радиосеть…

Включил.

Он как шарахнет…

И все осколки-то от него в меня полетели.

Если я иногда буду оговариваться и подпускать в текст красивую фразу «в глазах потемнело», — не верьте. В глазах у меня потемнело единственный раз в жизни. В тот раз. Потемнело.

Почернело.

Померкло.

Потому что осколки полетели не столько в меня, сколько в мои глаза.

Оказалось, что «подзарядил» я не конденсатор, а детонатор. Для его срабатывания достаточно полтора вольта, а в радио — там поболее. Вот и сработало.

Отвезли меня в реанимацию. Кто вез, как везли и что со мной в реанимации делали — я, естественно, не помню. Пробыл я там несколько часов. По ту сторону…

Реанимация, она меняет людей. И вышел, вернее — вывезли меня оттуда совсем другим человеком. Я даже не могу объяснить, что произошло. Что-то ЩЕЛКНУЛО, заклинило. В отношении психики. После этого как-то изменились взгляды.

Конечно, тогда я этих перемен в себе не сразу заметил. Да и слов таких еще не знал, какими те перемены можно было бы обозначить. Но что-то во мне происходило. Происходило…

В больнице я пробыл два месяца. Полтора из них мне не разрешали вставать. Только на спине. С завязанными глазами. (У меня на глазах была операция. Сейчас правый глаз почти ничего не видит.)

Лежишь в беспросветной мгле час, другой, третий… День, другой, третий… Неделю, другую, третью… Боль. Скука. Одиночество (маме не разрешали в больнице дежурить). И начинаешь думать. Нет, не думать… В 12 лет много не надумаешь. Начинаешь чувствовать, что все, что вокруг тебя — это живое, живущее, думающее. Собака, которая залаяла под больничным окном — это не просто собака. У нее есть душа. Дерево, постучавшее зачем-то в стекло, — не просто дерево… И надо понять, почему оно легонечко прошлось веточкой по стеклу. Даже у клочка земли, даже у реки — у всего этого есть душа.

Лежишь в больничной палате и чувствуешь, что нельзя забывать своего внезапного открытия. Иначе случится беда. Иначе тебя больше не пустят в тот мир, который открылся тебе, когда ты лежал на жесткой горизонтали и не видел ни света, ни окружающих стен, ни своей бренной идиотской оболочки.

Страшно не попасть больше в этот мир. Повязку с глаз снимут еще не скоро, и если некто могущественный распорядился не пускать тебя туда, где ты только что побывал, где тебе понравилось, где — ненасилие и родство душ, то ты, с забинтованными-то глазами, останешься нигде. Тебя не будет.

Когда я вышел из больницы, с удивлением обнаружил, почувствовал, что мир, который я там открыл, существует. Глаза видят одно, а душа — другое. Идиотская оболочка подчиняется чему попало — то светофору, то окрику классной руководительницы, то виду рыжего апельсина… А душа — лишь некоему одному, кто больше нас, мудрее нас и кто просит от нас лишь одного — родства душ.

После больницы я перестал ходить в планетарий. Мне гораздо интересней стало то, что вокруг нас, среди нас, в нас, — а не на далеких звездах. Что обращать внимание на звезды? Чего искать там? Инопланетян? Параллельные миры? Но параллельный мир — он рядышком. На звездах я поставил крест. И крыши тоже забросил. С крыш не различить расторопного муравья, красок на травяном листике, мост — соломинку через крохотную трещину в земле. Да и огромные деревья не хотят обращать на тебя внимания, если ты — среди звезд. И выше людей мне быть расхотелось.

Возненавидел я и зоопарки со звериными цирками. В том, как дети и взрослые радуются мишке на канате, мне вдруг увиделась патология. Чему радоваться?! Насилию над зверем?! Не должен этот зверь заниматься какой-то ерундой, абсолютно бесполезной для него. Не должен после выступления возвращаться в противную, вонючую клетку и тусоваться там на соломе.

Ни в зоопарк, ни в планетарий больше я не ходил. Принципиально. Случайно найденный мною стерженек-детонатор взорвал все мои представления о мире.

А в 13 лет я пошел работать. И одновременно продолжал учиться. В то время официально работать в этом возрасте было запрещено, но мама мне помогала. Она тогда была директором Дома отдыха и каким-то образом приткнула меня рядом. Я там киношки покручивал. Сколько зарабатывал? О, много — целую кучу. 42 рубля 50 копеек в месяц. Деньги я приносил домой, отдавал мамке, потому что у нас всегда была проблема с деньгами. Что она там получала? — 160 рублей… Надо было на что-то жить.

А музыка втягивала меня больше и больше. Все увереннее бацал на гитаре. Потом к фоно подобрался. Мелодию хорошую где-нибудь услышишь — пытаешься ее подобрать. В18 лет дернулся в музыкальное училище, но вовремя понял, что это

такое, и, слава богу, ушел.

Взрыв детонатора, больница, плотная повязка на глазах и беспросветная мгла вне времени и пространства то забывались, то вновь всплывали в памяти. Моя космогония, мои представления о мире и душе то путались, схлестнувшись с догматическими истинами из школьных учебников, которые я зубрил под выпускные экзамены, то снова становились стройными и ясными, шлифовались потихонечку, когда я подыскивал для них слова. Но главное, они, эти представления о порядке в мире, уже жили во мне в виде чувства… Непонятного. Неведомого. Неназванного. Хотя пройдет еще много лет, когда я пойму, что это чувство во мне — самое главное и что все мои песни должны быть им согреты. Еще поймется, что душа есть и у времен года. И если уж мечтать о ненасилии и о родстве душ, то надо жить так, чтобы каждый май был для тебя ЛАСКОВЫМ.

Кстати, еще раз о звездах. Иногда мне кажется, что наш эстрадный мир — это большой, большой планетарий. «Звезды», рожденные жужжащим аппаратом, вскарабкиваются по куполу, дрожат в зените, скатываются к ногам, а тысячи мальчишек и девчонок, затаив дыхание и, задрав головы, следят за их движением и комкают в потных ладошках билеты, не подозревая, что в настоящий мир никакого билета не надо. Он рядом. Стоит лишь опустить голову и оглянуться.

Глава 3. У циркуляки звук немузыкальный

Мир музыки, мир гармоничных звуков притягивал меня все больше и больше.

В двенадцать лет гитара в моих руках была, как и для многих подростков, всего лишь способом самоутверждения. Но после реанимации, после перенесенной операции, после щелчка, который неожиданно сделал меня восприимчивым к красоте мира, к его гармонии, — после всего этого я вдруг почувствовал, что мои пальцы могут извлекать из струн не только заунывные «Колокола» или приблатненного «Цыпленка жареного…», но и что-то свое… Иногда сочетания случайных аккордов разносились по нашей двухкомнатной квартире — стены словно растворялись, и, казалось, цветущие тополя, ноготки на неухоженной клумбе, все-все живое вокруг негромко резонирует с этими случайными звуками. А иные аккорды — такие же случайные, неумелые — вдруг оказывались заменой слов, которые я в то время не решался произносить вслух, слов о том, что весь мир — живой, что самое большое счастье — это не идиотская пятерка в дневнике, не победа в какой-нибудь бессмысленной драке, а вот это ощущение родства всех всему. Счастье — если ты вовремя заметил под занесенной ногой божью коровку и шагнул чуть шире, чтобы не наступить на нее.

Однако случайные звуки редко складывались так, что удавалось с их помощью хоть чуточку выразить себя. Чаще всего они сбивались на того же «Цыпленка жареного…» Требовались знания, навыки. Нужно было осваивать технику игры. Я обложился самоучителями. Я терзал гитару, сбивая пальцы до крови. Я всерьез занялся техникой игры.

Потом пришла повестка из военкомата. Меня требовательно поманил к себе пальцем мир отнюдь не музыкальных звуков, мир отрывистых команд, автоматных очередей, лязганья танковых траков. Я безропотно подчинялся этому миру, слегка надеясь, что мои музыкальные навыки пригодятся и там.

Служил в Саратовской области. В одном поселочке недалеко от областного центра. В войсках химзащиты. Часть наша оказалась маленькой: на тридцать солдат — чуть ли не пятьдесят офицеров. Заниматься приходилось многим: обучались приемам дегазации, разливали продукт, загружали-разгружали вагоны со всяким химическим дерьмом. И первое время, конечно, было не до музыки.

Но позже, когда свободных минут чуть поприбавилось, мы с ребятами решили сколотить свою группу.

Худо-бедно, но в клубе оказался кое-какой старый аппарат. Начальство разрешило им пользоваться. А акустику мы сделали сами. Попросили доски…

— Вон, — говорят, — у забора какое-то гнилье валяется. Берите, пользуйтесь на здоровье.

Мы собрали эти ненужные доски, сколотили из них колонки, а чем их начиняли — смешно сказать… 25-ватный КИНАповский динамик отыскали — вот и «обрамили» его старыми досками. И смешно, и стыдно… Не за нас стыдно, за космическую державу.

Состав группы по тем условиям получился простеньким. Много надо ли было? Бас-гитарист. Лидер-гитара. Барабаны, живые. Вокал. Ну, и я — на клавишных (брать в руки гитару посчитал преждевременным).

Прежде чем начать репетиции, я ребятам предложил:

— Давайте петь только свои песни. А то хана! В серости потонем. Конечно, и свое может серым оказаться, но лучше уж в своем барахтаться…

Ребята посмеялись. Согласились. Своих заморочек насчет того, какими должны быть песни, что я в них хочу вложить — никому навязывать не стал. Зачем?

Тактико-стратегическим направлением выбрали, конечно, попсу. Плацдарм для действий нашей солдатской группы определили тоже по-армейски просто: клуб в жилом городке при части. А название для группы всплыло такое — не дать не взять, прямо позывные боевых учений: «Контакт-73О». Никаких секретов в цифре «730» нет, каждого служивого, думаю, она повергнет в неописуемый трепет и напомнит о семистах тридцати днях, о двух годах надоедливой службы.

И начались наши боевые гастроли. Устраивали в клубе танцульки, развлекали товарищей по службе, офицерских дочерей и жен.

Конечно, все, что мы тогда делали, было до ужаса примитивным. Но на безрыбье и рак рыба. Ребятам нравилось. Даже кое-какая популярность у нас появилась.

Кстати, тогда я впервые почувствовал, что популярность может доставлять не только радость, но и неприятности, и не в меньшей мере. Создавая свою группу, мы совсем забыли о важнейших солдатских правилах: «Не высовывайся! Подальше от начальства — поближе к кухне!» Хотя, как я уже говорил, начальства в нашей части было едва ли не больше солдат, и избежать их пристального внимания все равно бы не удалось.

Однажды после танцев кто-то из офицеров взобрался на сцену, понаблюдал, как мы зачехляем аппаратуру, стараясь не занозить рук, и скомандовал:

— Так, друзья… Тут через неделю намечается одно мероприятие. Нужно, чтобы вы подготовили к нему Гимн Союза Советских Социалистических Республик.

Вот так-то… Не более, не менее. Нужен им гимн «совка» — и хоть расшибись, но сделай гимн.

Начали объяснять:

— С нашим инструментом только гимн потенциальных врагов Отечества играть… Чтобы разом весь патриотизм в них изничтожить… Что называется: музыкой по неприятелю!..

Но разве что докажешь? Советские командиры — самые лучшие командиры в мире. Они разбираются во всем, и в музыке в том числе. Офицер настаивает:

— Ничего, и наш Гимн сыграете. Я ваши танцульки послушал, немножечко прикинул, и вижу: прозвучит Гимн…

— Да вы что? В этим стиле, в попсовом, только похоронки играть. Да и то если покойник сам к аппарату пожалует, чтобы технику никуда не таскать — развалится ведь… Не будем мы Гимна делать!

— Издеваетесь? — злится командир. — Ну, смотрите, доиграетесь… Еще вспомните меня!

…Немного забегая вперед, к ЧП на пилораме, я скажу, что действительно вспомнил и теперь неоднократно вспоминаю и тот разговор, и того офицера. Нет, ни в коей мере не виню я его в случившемся. Может, в том случае и не он виноват. Но знаю, если не его угроза («Доиграешься!») настигла меня тогда, то значит, его угроза еще несется ко мне, петляя во времени и пространстве, и когда-нибудь-таки настигнет. Потому что нет ничего случайного в нашем взаимосвязанном мире. Любая недружественность, даже словесная, — угроза ли то, оскорбление, просто злое слово — обязательно находит адресата и доставляет ему боль. Поэтому, кстати, в этих своих заметках я стараюсь быть осторожным, сдержанным, объективным, а если вдруг какое-то злое слово нечаянно вырвется с моей стороны, то я хочу заранее нейтрализовать его извинением (в химзащите все-таки служил, учился обороняться, а не нападать).

Песню про «Союз нерушимый республик свободных…» мы в свой репертуар включать не стали. Мы, как и договаривались с ребятами, пели только свои песни.

Жизнь не может напрягать человека постоянно. Среди 730 дней «контакта» с армией были у меня дни светлые, чистые и добрые. Но даже из этих дней больше всего помнятся сейчас те, когда я писал первые свои песни. Впрочем, песни я писал не днем, а ночью, потому что свободное время у солдата, как известно, по ночам.

В армии появились «Маскарад», «Вечер холодной зимы», «Встречи». И «Старый лес» впервые прозвучал в армейском клубе.

Последняя песня родилась, может быть, от ностальгии по Оренбургу. В принципе, я не патриот своей малой Родины. Мне кажется, что если человек кричит: «Ностальгия!» — и рвется туда, где когда-то родился и жил, — такой человек никогда не пытался мысленно пообщаться с уголком земли, который его окружает в данный момент. Иначе бы он понял, что деревья добры не только на родине, что травы ласковы на любом боку земного шарика… Не хватать на чужбине может только родных людей, друзей. Или того, что равнозначно им.

Старый лес был и остается для меня родственником и другом. Он стоит на реке Сакмара, это в черте Оренбурга. Собственно, это территория Дома отдыха. У меня там когда-то работала мама. Я, можно сказать, там и родился. С каждым деревом в этом лесу, с каждым муравейником, с каждым «громом, готовым упасть», у меня действительно кровная связь, без поэтических метафор. В Старом лесу у меня прошла большая часть детства. Точнее, не в лесу, а С лесом. Ведь Старый лес — член нашей семьи.

Мне не хватало его в армии. Как и мамы. И я болел тоской по этому неказистому местечку в Оренбуржье.

Чтобы образ Старого леса не тускнел, не забывался, чтобы он был постоянно со мной, я и написал:

В летнем парке кончился сезон,
И снимают на зиму плакаты.
И забудет старый желтый клен
Музыку, что слушал здесь когда-то.
Почернеет желтая листва,
Упадет на круг, где каждый вечер
Выходили мы потанцевать,
Думая, что лето будет вечно…

Эта песня, естественно, не обо мне. Я просто взял и показал лицо своего леса людям, не знакомым с ним. Зачем? А зачем иногда показывают малознакомым людям фотографии своих близких?..

Как песня «Старый лес» стала «песней Андрея Разина» — это уже другая история. Я пока рассказываю о том варианте, который мы исполнили в городке, пропахшем химикатами и оружейной смазкой.

Весь репертуар «Контакта-730» мы даже умудрились записать. Запись, правда, получилась так себе, но она стала первой записью моих песен.

И чуть не последней.

Однажды на утреннем разводе мой командир скомандовал:

— Кузнецов — на распилку!

У нас за городком стояла пилорама, и иногда солдатские наряды отправлялись туда, чтобы из кряжей заготавливать доски. Когда пилораму включали, звук металла, грызущего дерево (совсем еще не давно — живое дерево!), разносился над городком. А с ним шлепанье сырых, с гробовым запахом, досок. Мне хотелось куда-нибудь сбежать от этой ужаснейшей какофонии, заткнуть уши. Звук пилорамы взбирался на несколько октав выше, и становилось еще невыносимей. Если ад существует и если там есть потребность в музыке, то звуки, изрыгаемые циркуляркой, как нельзя лучше подошли бы для услады сатанинских ушей. Слава богу, меня судьба и от этой музыки, и от этой работы до последнего времени оберегала. И вот:

— Кузнецов? На распилку…

Я взмолился:

— Я даже не представляю, с какой стороны к этой вашей системе подходить. Я ни разу на пилораме не работал. Не дай бог, попаду под нее!.. Пальцы — мой хлеб.

— Не можешь — научим, — отрезал командир. — Не хочешь — заставим!

В общем, заставили… Дубы же, господи… Последовательные поборники принципа: круглое носить, квадратное — катать…

Пошел я на распилку, в самый эпицентр адской «музыки». И стальной вой словно околдовал меня. Я оцепенело что-то пытался сделать, хватал какие-то бревна, куда-то их пристраивал и чувствовал, что адская «музыка» все сильней леденит нутро. А потом раздался ее кульминационный аккорд — вж-ж-жих! — и я отстраненно увидел, что на желтые доски льется с моей левой руки кровь. Тупо посмотрел на руку. Диск циркулярки снес с двух пальцев подушки, на третьем разорвал сухожилия, последняя фаланга там не знаю на чем и держится.

Приехали…

«Доиграешься, Кузнецов!» — вспомнил я прозорливого начальника. Того, что мечтал озвучить свое мероприятие совковым гимном.

Доигрался…

Два пальца в госпитале мне кое-как «отреставрировали»… А третий так и остался с разорванными сухожилиями, с вывернутой в сторону фалангой. Хорошо, хоть совсем его не отрезали. А собирались…

Выйдя из госпиталя, я понял, что крутым гитаристом мне уже не стать. Ни-ког-да! Струнные — теперь не про мою честь… Но ведь остались не менее любимые клавишные!

Пришел в клуб. Посмотрел на зачехленный аппарат. Барабаны на глаза попались. Это, думаю, уже на крайний случай…

Сел за клавишные. Подтянул рукава хэбэшки. Размял левую руку со следами швов. Ну, поехали. Либо пан, либо пропал… И заиграл «Старый лес», мысленно проговаривая слова:

Старый лес, мы ведь не понимали:
Лето не будет вечным,
Осень нас разлучит.
Старый лес… По полосе асфальта
Я покидаю место нашей любви.
А лес все молчит…
Ничего, получилось.
И спасибо тебе,
мой Старый лес,
что твой образ был
в той песне, которая тогда,
в пустом армейском клубе,
вернула мне надежду.
Ты же знаешь,
Старый лес, что без музыки
мне не выжить.
Мы же не раз
об этом с тобой,
говорили, мой всепонимающий
Старый лес…

Глава 4:
Гроза пригородных дач

Для подростков ли мои песни? Нет. Другое дело, что их слушают и подростки. Они оказались самыми верными и последовательными поклонниками. Но песни предназначены им в той же мере, в какой — и взрослым.

Песни я писал для всех. И слушали их все. По крайней мере, тогда, когда «Ласковый май» был в зените.

Ни в одной стране мира не могло произойти того, что произошло у нас: какая-то провинциальная группа в считанные недели взлетела на эстрадный Олимп и заявила во всеуслышанье! «Здравствуйте, я — «Ласковый май»! Прошу любить и жаловать…»

И любили… И жаловали…

Почему? Может, действительно, как объясняют, сложились в Союзе некие предпосылки, и людям захотелось отвернуться от проблем, забыть про них. Выбросить из головы мусор пропагандистских накачек. Послушать песни не о том, как «хорошо в стране советской жить», есть, пить, совокупляться и слушать споры на съездах депутатов. А о другом послушать, о чем-то более простом и вечном. А может, причина успеха в ином: в солисте. Мне такое объяснение как-то ближе.

Впервые на эстраду вышел пацан и запел не красногалстучные марши и не «Чебурашку» — а то, что в какой-то мере отражало его… если не состояние, то идеалы. Запел — словно перескочил через безвременье перестроек — переделок-переналадок и очутился в своем собственном будущем, где уже все спокойно, где осела политическая пена, где вновь в цене оказались любовь, дружба, тяга к прекрасному.

Не потому ли заслушивались «Ласковым маем», что ворвался он в наш дурной мир бесхитростной телеграммой из будущего?

Не потому ли полюбили Юрия Шатунова, что сам он в силу своего возраста уже принадлежал и принадлежит этому будущему? Разве поверили бы нам, если послание с грифом «Ласковый май» принес бы в страну другой человек? Другой «разносчик телеграммы»? Старый, хоть и молодящийся, насквозь циничный, хоть и игриво улыбающийся с эстрады? Нет! Нет!! Нет!!! Нужен был иной солист.

И я начал искать такого солиста в оренбургском интернате № 2. Вернее, продолжил. Потому что в этом интернате я успел поработать перед армией. Мы с бывшим директором закупили тогда аппаратуру, плохонькую, но по тем меркам вполне сносную,

можно было работать. Я намеревался создать детскую группу. Но не успел: пришла повестка из военкомата. Проводы в армию получились спешными, скоропалительными, — я даже аппарат, закрепленный за мной, не успел сдать (это потом сделала моя мама). Не успел попрощаться с теми, с кем познакомился в интернате. Хотя и не очень огорчался: особых дружеских отношений ни с кем тогда не возникло. И я не знал, вернусь ли после армии на прежнюю работу. Получилось так, что вернулся. Хотя и не сразу. После дембеля, в мае 86 года, устроился в Оренбургский Дом отдыха, проработал там все лето. Но когда Дом отдыха закрыли на реконструкцию, я понял: нужно идти в интернат, это судьба…

К тому времени я уже приблизительно знал, как будет выглядеть будущая группа (сказался армейский опыт). Не было проблем и с репертуаром — не торопясь, я доводил до нужного уровня первые свои песни («Маскарад», «Вечер холодной зимы», «Встречи», «Старый лес»). А вместе с решением вернуться в интернат окрепла во мне самая важная идея, которая потом и определила успех. Идея сделать солистом пацана и только пацана.

Мысленно я даже составил себе нечто вроде «фоторобота» этого пацана. Правда, в отличие от милицейских эрзац-портретов, где воссоздавалась лишь внешность, фоторобот моего будущего солиста включал и голосовые данные, и музыкальность слуха, и черты характера…

«Фоторобот» был, а того, кто хотя бы отдаленно с ним совпадал — нет.

Кого я только не перепробовал на эту роль, но ни в ком не было толка! Впору — хоть развешивай по всем городам и весям Оренбуржья ориентировку с отчаянным призывом: «Его разыскивает… популярность!»

Друзья, видя мои мучения, советовали: «Да плюнь ты на этот интернат. Сколоти группу на стороне, со взрослыми музыкантами и солистами. Вон сколько талантливых ребят без дела. Неужели непонятно, что единомышленником сможет стать только сверстник?.. Плюнь, плюнь на этих пацанов!».

Но я плюнул на советы.

Если задумал что стоящее (или считаешь, что стоящее), самое вредное — обращать внимание на чужие подсказки. Надо остерегаться советов. Надо сквозь них идти напролом к своей цели.

(Сейчас, когда начинающие солисты, музыканты звонят мне и просят высказать свое мнение по какому-либо поводу, что-то посоветовать, я всегда отвечаю: «Единственно, чем могу помочь —

это не вмешиваться в ваши дела, ничего не советовать»).

…Время шло. Аппаратура простаивала. Солиста не было. И вдруг на моем горизонте появился Слава Пономарев. Надо сказать, что за время моей армейской службы в интернате произошла смена власти. Старый директор куда-то ушел, а на его место перевели Валентину Николаевну Тазикенову, которая до этого руководила Акбулакским детдомом (это в области, неподалеку от Оренбурга). То ли женщиной она оказалась предусмотрительной, то ли Макаренко со своей методикой был у нее в особом почете — уж не знаю, но из бывшей своей вотчины она привезла в Оренбург, как в свое время Антон Семенович — в Куряж, несколько старших воспитанников и выпускников.

Среди этой ударной бригады оказался и Слава. (После окончания десятилетки он остался работать в детдоме кочегаром. Работа ему не шибко нравилась, и он с благодарностью принял тазикеновское предложение поехать в Оренбург вместе с ней).

В Оренбурге Валентина Николаевна устроила Славу руководителем интернатского технического кружка.

Пока Пономарев возился с картингами, ему было не до музыки. Но когда дела в техническом кружке пошли нормально — Слава заглянул в мою рабочую каморку. Не мог не заглянуть… По натуре он был музыкантом. Вернее, любителем музыки, как и я. Играл на гитаре.

Мы подружились.

Как-то я пожаловался Славе, что не могу найти солиста. Пономарев пожал плечами:

— Что ж ты раньше не сказал? Давай попробуем одного паренька из Акбулакского детдома. Ему тринадцать лет. Голос не знаю как, а слух — обалденный… Юрка Шатунов.

Я сказал:

— Вези, — и подумал, скольким фамилиям я уже пытался придать эстрадный блеск. Не получилось. Теперь вот какой-то Шатунов…

Слава укатил в Акбулак и скоро вернулся с нахохленным, как чиж на мокрой ветке, подростком.

Я прикинул, вроде ничего, для сцены подходит. Довольно симпатичный. И характер угадывается такой, какой мне нужен.

Протянул ему гитару:

— Ну, давай, Лоретти из Акбулака, сбацай что-нибудь.

Юра взял гитару, откинулся спиной на дверной косяк. От этой его позы моя каморка сразу превратилась в какую-то подворотню, но стала почему-то уютнее.

— Живи, родник, живи, родник моей любви, — запел Юра.

Сначала он пел нехотя, будто сдавая экзамен по

ненавистному предмету. Потом забыл про экзаменатора, то бишь про меня, про Славу Пономарева, с гордым видом собственника слушавшего песню Лозы, про то, что на карту поставлена его, шатуновская судьба. Хотя, что решается судьба, он, может, и не забывал. Только совершенно по-разному мы понимали, куда должна направиться его жизнь. Мне, слегка ошалевшему от его голоса, уже представлялось, как этот голос будет дарить тепло, доброту, нежность тысячам людей, как будет напоминать им, что мир невелик, и нельзя в нем гадить… Юра же в тот момент, как оказалось, ждал от судьбы совсем немногого: чтобы вызволила она его из Акбулака. Невмоготу там стало от издевательств старших ребят.

— Вода родника, живая вода, ты как любовь чиста… — пел Юра, взлетев голосом, нет, не к верхней октаве — к самой надежде, к вере, что, хоть и нелегкой будет новая жизнь, но все-таки легче, чем в Акбулаке, что еще существует родниковая чистота человеческих отношений.

Я остановил его и спросил:

— Будем петь? В группе?

Он кивнул головой. Без особых эмоций, потому что еще жил в песне, которую я прервал.

— Только одно условие, — предупредил я. — Я не люблю подпевал. Не люблю, когда солист то там чужую песню подхватит, то там… Как бездомная собака — репьи… Петь будем только свое.

— Даже «Голуби летят над нашей зоной» нельзя, что ли спеть?

— Для себя — ради бога, а со сцены — нет, — отрезал я.

— Что же тогда со сцены петь?

Я сел за «Электронику» и показал мелодию песни «Вечер холодной зимы». Потом наскоро написал на клочке бумаги слова.

— Есть у меня такая песенка… Давай попробуем.

Юра взял бумажку. Опираться на косяк двери не стал. Подошел к инструменту. Теперь это был немного другой человек.

Я положил пальцы на клавиши, и Юра запел, слегка отставая от музыки, так как разбирал мои каракули:

— Еще не скоро до весны, И звезды скрылись в снежных тучах.

Метели, вьюги холодны,
Но этот вечер самый лучший.
Как верю я твоим глазам,
Мы долго ждали этой встречи.
И необъятен шумный зал,
И этот вечер будет вечность…

До весны, действительно, было не скоро. На улице хмурилась зима. Но до «Ласкового мая» оставалось совсем немного, считанные недели. И первый шаг к нему был уже сделан. Юрий Шатунов впервые пропел мою песню.

…Потом Юра показал пальцем на «Электронику»:

— А можно я на этой штуке попробую?

— Умеешь, что ли?

— Не-а, но сейчас научусь.

Я с иронией уступил ему место за клавишами. И он, ни разу, как оказалось, не видевший электрооргана, уверенно воспроизвел мелодию, которую я только что играл. Слух у него и впрямь оказался обалденым.

Обалденной оказалась и тяга к бродяжничеству. Когда на следующий день я пришел в интернат, радуясь, что наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки, что к Новому году мы успеем сделать дискотечную программу, Слава Пономарев встретил меня нерадостной новостью:

— А Шатунов сбежал…

— Куда?!!

— В Тюльган, наверное. К своей тетке. Так оно потом и оказалось. И те две недели, что он пробыл там, были для меня не самые радостные. Что Шатунов вернется в Оренбург, я не сомневался. Ходу назад, в Акбулакский детдом, к былым своим обидчикам, ему просто не было. Я засомневался в другом: а нужна ли ему музыка? Увы, последнее мое сомнение полностью подтвердилось.

В интернат Юра, конечно же, вернулся. И репетировать мы с ним начали. Но каждый раз, когда Шатунов появлялся в моей рабочей каморке, я почти физически чувствовал, как он преодолевает себя, свое нежелание заниматься музыкой. Поет, а сам прислушивается к звукам шайбы, несущимся с хоккейного корта… И я понимаю, весь он сейчас там, среди пацанов-хоккеистов… А пение — это лишь форма благодарности за вызволение из акбулакского плена. Иногда он позволял себе врываться на репетиции даже не сняв коньки, и мне приходилось терпеть такое неуважение к песне. Я понял, что если хочу сохранить этого солиста, должен многое терпеть. И должен навести между нами какие-то личные мосты. Заразить его своими принципами, своей верой и любовью к музыке. Найти общие точки соприкосновения.

Что может нас объединить? Безусловно, хоккей… Но притворяться, что во мне вдруг проснулся страстный болельщик, категорически не хотелось. Да я не смог бы я этого сделать. Я

стал присматриваться, какие, кроме хоккея, радости есть у Шатунова еще.

Вторым, его любимым занятием было полазать по дачам. За интернатом, внизу под горой, стояли дачи. Зимой они пустовали. И Шатунов со своими новыми приятелями очень быстренько проторили туда по снежной целине свои беспечные маршруты. Пройдутся по садовым домикам, посмотрят, кто и как наладил здесь свой загородный семейный очаг. Частенько бывало — и припрут оттуда что-нибудь. То посуду, то самовар, то какой-нибудь чайник. Однажды, смотрю, тащатся с какой-то раздолбанной плиткой.

— А это зачем? — спрашиваю.

Отвечают с вызовом:

— Отремонтируем, на этаж себе поставим. Будем чай кипятить.

Конечно, во многом это ребячье «увлечение» шло от интернатской нищеты. Не было в ребячьих комнатах самых необходимых в быту вещей. Собственных вещей, личных. Не было, к примеру, транзисторов. А какой пацан не мечтает о них? Поэтому транзисторы были «выведены» нашими бродягами подчистую по всей округе. Так хороший огородник выводит в своих наделах сорную траву. Транзистор считался одной из самых ценных добыч. Судя по тому, что у Шатунова сменилось не одно поколение радиоприборов, добытчиком он был удачливым. (Я думаю, обворованные дачевладельцы хоть чуть могут утешиться тем, что косвенно участвовали в развитии музыкальных вкусов будущей поп-звезды.)

Набеги на дачи диктовались еще и чисто спортивным азартом. Хотя я не мог поддержать и второго увлечения Юры, но относился к нему с достаточным пониманием. Мне даже нравилась эта Юркина черта характера — рисковость. Нравилась прямота: застигнутый с той же злосчастной плиткой, он не увиливал от ответа, не врал, обеляя себя… Нет, все-таки солист мне попался то, что надо… А нелюбовь к музыке… Что ж, попытаемся не фиксировать на этом внимание.

Как-то я подошел к Юрке, сказал:

— До Нового года осталось с гулькин нос. Еще не поздно отказаться от дискотеки, которую мы пообещали под нашу с тобой группу. Нас поймут… Или все-таки рискнем и подготовим программу?

Юрка посмотрел на меня с недоумением, как на хнычущего хоккеиста, и сказал:

— О чем разговор? Конечно, рискнем.

С этой поры я уже не чувствовал, что репетиции Шатунов

просто отбывает. Он доходил до фразы «Как верю я твоим гладам, мы долго ждали этой встречи», — и его собственные глаза освещались отчаянной отвагой. Он не просто исполнял эту песню для какого-то абстрактного зрителя, а пел ее как бы конкретной девчонке, в которую уже успел втюриться. И в этом тоже был момент так боготворимого Юркой риска. (Попробуй-ка признаться в любви симпатичной девахе, если тебе всего 13, если ты к тому же новичок в интернате, если не знаешь, как к этому отнесутся ребята постарше, да и сама девчонка… То-то…)

Ну, а когда мы начали мастерить световое оформление для дискотеки, то Юра не отставал от меня ни на шаг. Техника оказалась третьим из китов, на которых держался шатуновский интерес к жизни.

Когда хоккейный корт убегал весенними ручьями, Юркино внимание переключалось на картинги. Пожалуй, для него картинг стал поважнее, чем хоккей. Никаких выступлений, никаких репетиций, хлебом не корми — только картинги! У него был свой картинг, закрепленный за ним. Вот он на нем и рассекал… Классно носился! У них там для этого было специальное заасфальтированное место.

— Кузя, — спросил он как-то, — а почему ты про технику песен не пишешь? Например, про картинг… Вжжих, вжжих, резкий поворот… Крепче за баранку держись… А?

— Я не люблю эту тему, — ответил я. — Техника развивается, через несколько лет она будет совершенно другой. А то, о чем я пишу, останется надолго, навечно. Я не хочу, чтобы через десятки лет мои песни выглядели так, как сейчас выглядят песни 50-х годов…

— Ты думаешь, твои песни будут и через десятки лет?

— Вряд ли. Но очень хочется… И все зависит от нас. Когда заканчивались репетиции, я пытался вытащить Шатунова куда-нибудь в центр. В театр, кино. Это тоже было проблемой. С удивлением я обнаружил, что Юра домосед (или правильнее — детдомосед? Извини, Юра, за горькую иронию…). Но иногда наши вылазки удавались, и некоторые из них помнятся до сих пор. Помнятся и приобретают какой-то новый смысл. Так однажды я вытащил Славу и Юрку на «Бесконечную историю». Был такой обалденный фильм, штатовский совместно с ФРГ. Просто чума, а не фильм! Тончайшие краски, тончайший смысл… В этом фильме есть такой персонаж: Пустота. Просто Пустота, которая все поглощает, спокойно, безэмоционально, ненасытно. Поглощает и доброе, и злое, и готовое к добру. А сама от этого не становится ни добрее, ни злее, ибо Пустота и есть Пустота.

— Не хотелось бы с таким явленьицем столкнуться, — сказал

я после фильма. — А вам?

Шатунов промолчал. Испуганный этим молчанием, я свел вопрос к шутке:

— М-да, не для «совковых» детей фильм… — и перевел разговор на другую тему. А образный персонаж из импортного фильма стал преследовать меня, и преследует до сих пор (фильм даже на кассету у меня сейчас записан). Только теперь я понимаю, что Пустота — это никакой не иррациональный образ. В жизни все проще. В жизни в Пустоту превращается Человек. Высасывает из тебя все, что можно, и равнодушно выплевывает, готовый к новым нападениям…

Новый год между тем наплывал, как стремительный айсберг. Но он меня уже не страшил. Программа для праздничной дискотеки была почти готова. Оставалось совсем немногое. Во-первых, придумать себе название… Я предложил «Ласковый май». Юре и Славе оно не понравилось. Я согласился с ними, действительно, звучит больно слащаво. Но времени на поиски нового не оставалось, и мы решили оставить его как рабочее. До той поры, пока не придумается более точное, соответствующее образу нашего солиста.

Вторая проблема, которая возникла у нас перед самым выступлением — Юркин костюм. Решить ее кардинально не было ни времени, ни возможностей, и мы решили выкрутиться самым простеньким образом. У Шатунова имелись выходные штаны — обыкновенные «совдеповские» джинсы. Я взял иглу, нитки, вспомнил армейские навыки, и эти штаны Юре ушил. Чтоб не болтались на нем, как на пугале огородном.

Кстати, Юркины костюмы — целая история. Когда его первые сценические джинсы поизносились, пионервожатая подарила ему костюм. Специально для того, чтобы он в нем работал. Коричневый, с небольшим отливом. По тем временам это был класс! Мы уже уехали в Москву, а тот костюм все валялся у меня дома. Потом мама отнесла его в интернат. В Москве же мы начали работать более серьезно, — серьезнее подходили и к внешнему своему виду. За Шатуновым стал следить администратор группы Аркаша Кудряшов. Одевал его с Рижского рынка. Возьмет там какую-нибудь майку, куртку крутую, сидит, часами ее обшивает, доводит до ума…

Когда-то неистощимому на коммерческие дела Андрею Разину пришла в голову мысль сделать музей «Ласкового мая». Если бы такой музейчик возник, самой печальной экспозицией, думаю, стала бы экспозиция Юркиных костюмов… Висело бы оно в ряд, это тряпье, и напоминало каждому, какая дикая дистанция от коротеньких брючишек стремительно вырастающего

детдомовца до белого, в выпендрежных дырах, костюма поп-звезды… Напоминало бы, как быстро растут мальчишки… Предупреждало б, что расти — вовсе не значит меняться к лучшему…

И вот настал наш «судный» день — новогодний вечер в инкубаторе… В небольшом актовом зальчике дети сдвинули стулья, организовали себе место для танцев. В первой части вечера я поставил им танцевальный музончик. Полумрак. Приглушенный свет. И дым столбом изо всех углов (за курение администрация интерната меня гоняла, я в свою очередь гонял детей, но за всеми разве уследишь?..) Вот такая интересная обстановка в первой части. По коридору идешь — вроде все инкубаторское: флаги висят, портреты Лукича, планы работы актива, отряда и т. п. А в актовый зал заходишь: все прокурено, в одном углу обнимаются, в другом целуются, в третьем еще хлеще… Атмосфера такая, будто на взрослую тусовку попал. Как бы, думаю, не растерялся Юрий Васильевич в таких условиях.

Началась вторая часть вечера. Я сел за инструмент. Слава, немножко волнуясь, взял бас-гитару. А Юрка — микрофон. И впервые прозвучало перед мальчишками и девчонками:

— Выступает группа «Ласковый май»!

Шатунов запел, и я боковым зрением увидел, как из темных углов один за одним выходят поближе к сцене крутые детдомовцы и как медленно, но безудержно тают на их лицах ироничные ухмылки.

Напомню, навсегда в прошлое уходил 1986 год.

…Пока после вечера мы убирали аппаратуру, мама, знавшая о нашем дебюте, не удержалась и позвонила директору интерната:

— Как там, Валентина Николаевна, вечер прошел?

— Вы знаете, Валентина Алексеевна, это сенсация! — ответила Тазикенова. — Никто не ожидал, что за такое короткое время Сереже удастся сделать группу. И неплохую группу!

Мама пересказала мне эти слова, но я-то знал, что группе невероятно далеко до совершенства. И наше волнение сказалось. И качество аппарата.

Мы с Юрием Васильевичем отработали Новый год, много вечеров отработали. На одном из них Юра немножко не выдержал. В одном месте требовалось взять высокую ноту, а он то ли простыл, то ли уже мутация начала сказываться, — вот и не вытянул это место. Бросил микрофон. Убежал со сцены. Слезы там… Я говорю, ничего, радость, моя, успокойся. Через год мы из тебя сделаем звезду. Посмеялись вместе… Поскольку даже не предполагали, что уже через несколько недель окажемся в центре

пусть слабенького, но все же внимания меломанов.

После Нового года я решил сделать несколько пробных записей того, что мы наработали с Юрой. Записывались в ДК «Орбита», куда я устроился по совместительству, чтобы иметь доступ к хорошей аппаратуре. И вот однажды едем с Шатуновым в автобусе из «Орбиты» в инкубатор, а она, зараза, песня-то наша, где-то там впереди играет. Кто-то из молодых на свой «мафончик» записал. Мы, конечно, удивились, слегка обрадовались. Шатунов у паренька, что впереди сидел, спрашивает:

— Это что за музыка?

Тот отвечает:

— Какие-то «Оренбургские мальчики», наша группа, оренбургская…

— Какие «Мальчики»?! Обалдел, что ли? — вмешался в разговор его приятель. — Это группа «Ветерок».

Мы с Шатуновым переглянулись. Я подумал, не пора ли записать свой альбом? Не пора ли представиться насторожившейся публике:

— Здравствуйте, мы — «Ласковый май»?

Но для этого требовались новые песни. Из тех, что у меня уже были, для Шатунова подходили не все…

Глава 5. Метель в чужом Тюльгане

После новогодних вечеров у меня начался нудный, томительный простой. Юра укатил на каникулы в Тюльган, к своей тетке. Я слонялся по наполовину опустевшему интернату, прикидывал, какие из исполненных Юркой песен оставить в его репертуаре, какие — нет… Картина складывалась невеселая: песни, которые сложились в армии, шатуновского образа не подкрепляли. Может потому, что уже звучали в другом исполнении, несли на себе легкий отпечаток другого прикосновения? А песен для Шатунова не придумывалось…

Сама песня, какая бы ни была, пишется у меня за минуты. Вся полностью. Но это, когда ты садишься за инструмент и знаешь, о чем напишешь, когда живешь настроением новой песни. Но дорога к этой счастливой творческой минуте может занимать и месяц, и год, и два… Когда осуществятся те замыслы песен, которые роились во мне, я не знал. Настроения, понятно, это не прибавляло.

От безысходности я решил попытаться сделать музыку на чужие тексты. Стал прикидывать, кто из поэтов подошел бы для такого дела. Классику отмел сразу. Заставить Шатунова петь на слова Державина, все равно, что выпустить его на сцену в клоунском гриме. Да и сам я классику не больно жалую. Почему-то… Поэтому Пушкина и иже с ним оставил в покое. Решил «пройтись» по XX веку…

Из современников крупным поэтом я считаю Андрея Макаревича. Когда на моем, подростковом еще, горизонте, всплыла его «Машина времени», — я был потрясен энергией, заложенной в словах. Тяжелый ритм рока обпачкал эту энергию до предела, нес ее нам, слушателям… Даже слова с затертым смыслом искрили от напряжения, будили в нас некие неведомые, но страшные силы, готовые снести любые преграды на пути к Справедливости. «Машина времени» вовсе не отвечала моему ощущению мира, но не уважать я ее не мог. Все там было искренне, талантливо, люто.

Еще из современников нравится мне Андрей Вознесенский. Усложненные метафоры превращают любовь в его лирических вещах в чувство иррациональное, в нечто, данное свыше для того, чтобы упорядочить земной хаос. Именно это мирит меня с обилием техницизмов в поэзии Вознесенского, с образами, рассчитанными на элитарного читателя. Однако, когда встал вопрос, на чей текст написать музыку, на сборнике Вознесенского и ноты моей не сидело. Слишком разные уровни — Вознесенский

и «Ласковый май». Принципиально разные…

Перелистал я в тот отчаянный момент книгу Анны Ахматовой. Мне многое у нее нравится. Близок по духу ее мистицизм. Ее проглядываемая в строках вера в иррациональное. Но, примериваясь к ахматовскому сборнику с достаточно утилитарной целью — смогут ли ее стихи прозвучать со сцены в исполнении «Ласкового мая»? — я вдруг открыл, что ахматовский мистицизм, ранний, по крайней мере, ничего общего с моим не имеет. Слишком он мрачен и безысходен. В самом деле:

Луна над озером остановилась,
И кажется распахнутым окном
В притихший, ярко освещенный дом,
Где что-то нехорошее случилось…

Мне верилось только в хорошее. Мне хотелось, чтобы именно о такой вере пел Юрий Шатунов. В конце концов, шел все-таки 87 год, все громче и громче звучала анафема тем душным временам, которые породили дикую, нечеловеческую боль Анны Андреевны, ее скептицизм. Наше время худо-бедно давало надежду, что люди осознали, в какой тупик загнали себя, и уже потихонечку сдают из этого затхлого закоулка истории. Мне хотелось в меру сил поддержать эту надежду. Нет, не в горьковском утешителе Луке видел я свою роль — упаси боже… Мне нужно было поделиться со слушающими верой, что мир все же чист, по большому счету, и светел. Что есть некая сила, которая в нужный момент призовет нас к совести, и там, где власть этой силы — «нехорошего» не может быть. Но Анна Ахматова не поддержала меня в моей вере.

Общение с крутыми поэтами, конечно, не прошло даром. Текста для переложения на музыку я так и не выбрал. (И кстати, раз и навсегда решил больше не грешить этим). Но сам дух Большой Поэзии вдруг отразил, насколько несовершенно наше доморощенное творчество. Несовершенно — даже при всей разности задач. Как много еще нужно работать!

И я решил не понукать себя, не требовать от себя новых песен.

Отказываясь от всех внешних конъюнктур, очень легко подпасть под самую опасную: ту, что незаметно диктуется самим собой. Пусть все идет, как идет…

…А в интернат, в самый разгар моего углубления в поэзию, приехали гости. Ребята из какого-то соседнего детдома. Директриса вызвала меня и сказала:

— Кузнецов, нужно дискотеку для гостей организовать. Сгоняй-ка в Тюльган, за Шатуновым…

И я поехал. Даже с радостью. И вовсе не потому, что горел желанием, во что бы то ни стало провести эти показательные

дискотеки. Нет, я вдруг понял, что за месяц с небольшим успел привязаться к своему солисту, что мне не хватает его идиотской упрямости, его вызывающих «ну, чё?»… Мне захотелось рассказать ему, как моя мама позвонила после новогоднего вечера Тазикеновой, интересуясь дебютом. Нашим дебютом. (Как это важно, что одно материнское сердце все- таки болело и за меня, и за него!). Мне не терпелось вместе посмеяться бредовой идее записать в соавторы с «ЛМ» классиков XX века… Ну и, конечно, я боялся, что проклюнувшийся с таким трудом интерес Шатунова к работе в группе за долгие зимние каникулы может пропасть, не дав зеленого ростка.

По дороге в Тюльган я вспомнил, что адреса шатуновской тети не знаю. Утверждение же, что язык до Киева доведет, как-то не очень утешало: не в глухую ведь деревню из пяти дворов еду, а в какой-никакой город… К тому же за окном автобуса разгулялась метель. В салоне стало от этого неуютно, тревожно. Я ехал в чужой город, где меня никто не встречал.

К счастью, Тюльган оказался не таким большим, как рисовался моему воображению. Весь он раскинулся на горе, которая курилась поземкой, как вулкан. Хотя сравнение с вулканом не очень удачное… Вулканы все-таки связаны с теплом, а Тюльган встретил меня набравшей силу метелью да холодом. Я двинулся по первой попавшей улочке. Кривой и пустынной. Шел, отплевываясь от снега. Проклинал свою несообразительносгь (мог бы у Тазикеновой адрес взять!). И высматривал прохожих. Наконец впереди, в просветах пурги замаячила чья-то фигура, и когда мужчина в завидно теплом тулупе поравнялся со мной, я сбивчиво спросил:

— Парень из Оренбурга… Где остановился, не знаете?.. Шатунов по фамилии…

Прохожий подозрительно оглядел меня и развел руками.

Я бродил по городу и думал, а ведь не я один… Сколько людей сейчас разделены вот этим же бураном, который не на шутку принялся за Оренбуржье, сколько человеческих сердец тянутся сейчас друг к другу и не могут пробиться сквозь ледяную круговерть… А когда пурга утихнет — не многим из них станет легче, потому что есть еще холод непонимания, отчужденности, чужой злобы.

Я взбирался все выше в гору, и снежный ветер все больнее хлестал меня по лицу. Но что эта боль по сравнению с той, которая пронизывает сердца многих и многих людей, разлученных друг с другом. Я думал о них, а в голове билась невесть откуда взявшаяся строчка:

А метель бьет в лицо.

Как она к вам жестока…

Вдруг я понял, что это песня… Прорвалась сквозь какие-то преграды и согревает, утешает меня. Я повеселел (не Шатунова привезу, так хоть песню). Я пошел медленнее, я уже не проклинал ни пургу, ни кривые, бессистемные улицы. Город начинал мне нравиться. Но чтобы переменой настроения не вспугнуть песни, я попридержал в себе щенячью нежность к щедрому городу…

В зимнем городе незнакомом
Власть взяла в свои руки вьюга,
Стал хозяином снег.
Вьюга бродит от дома к дому,
Отделяя их друг от друга.
Нет дороги к ним, нет…

Настроение и музыкальный ритм будущей песни сложились. И я решил, что день 5 января 1987 года прожит не зря… Вот только Шатунова бы еще отыскать…

Видно, одна удача не ходит без другой. Едва я вспомнил о Шатунове, как откуда-то из проулка зазвенели голоса мальчишек, и я запоздало спохватился: какого черта пугаю своими вопросами всех прохожих подряд… Мальчишек надо спрашивать, уж эти-то все знают! Я подошел к юным лыжникам и спросил:

— Где Шатунов живет?

— А вам на что? — настороженно поинтересовались они.

Я развеял их подозрения и уже через несколько минут шлепал по указанному адресу. Шел, а в голове крутилось:

К ночи улицы как в пустыне.
Все безлюднее с каждым часом.
Снег, он этому рад.
Белый город от вьюги стынет,
Отдавая ей свет и краски,
Чтоб дожить до утра…

Подходя к обыкновенной совковой двухэтажке, к которой меня направили Юркины приятели, я решил, что в песне, вопреки реальности, вьюга должна покинуть город.

Дверь в квартиру мне открыли две девочки. Как я понял, двоюродные сестренки Шатунова. Я даже не стал спрашивать, здесь ли Юрий Васильевич. Из комнаты доносились пиликанье гармошки, а это ли не шатуновские «позывные»? (Он рассказывал, что играет на гармошке с раннего детства). Я поздоровался с девочками, и на мой голос выглянул из комнаты Шатун:

— О, Кузя, привет!.. — в его голосе почудилась такая открытая радость, что даже следующая фраза «Ты чё?» не показалась мне бесцеремонной. Меня подмывало ответить с высокопарной шутливостью: «Да вот вьюгу над вашим городом

решил разогнать!», — но я побоялся вспугнуть песню и сказал просто:

— Собирайся, поехали… Дискотеку надо провести…

Мы ехали в полупустом автобусе, и салон не казался неуютным, хотя пурга за окнами нисколько не смягчилась. Я последний раз взглянул на маленький городок, облепивший снежный «вулкан», и мне захотелось пожелать ему, этому городу-незнакомцу, спокойного душевного здоровья… Пожелать строчками будущей песни.

Но закончится ночь, и вьюга
Незнакомый оставит город,
Зло истратив сполна.
И увидят дома друг друга…

Вернувшись в Оренбург, мы отыграли дискотеку для интернатских гостей. А после нее Юра свалился со страшной простудой. Тюльганская метель, подарившая нам песню, для него даром не прошла.

Я съездил домой. Привез меду, варенья. Отыскал лимоны. Всем этим делом его напичкал. Дал таблеток от простуды. (Когда пришло время, эти таблетки мне припомнили. Обвинили, что я накачиваю детей «колесами»). Уложил Юру спать. И только после этого сел и дописал «Метель в чужом городе».

Через два с небольшим месяца песня была полностью готова. Мне хотелось, чтобы ее премьера состоялась на районном смотре художественной самодеятельности, где нас обязали выступить. Но там она не прозвучала. Из-за громкого скандала, после которого на следующий же день меня уволили из «инкубатора», а «ЛМ» первый раз распался. Об этом конфликте еще будет речь, и я забегаю вперед лишь для того, чтобы подчеркнуть, не такая легкая судьба у этой песни, как кажется некоторым.

Недавно мне показали вырезку из одной молодежной газеты. Там, под рубрикой «Песня субботы», опубликована «Метель». Вместо фамилии автора значится: «Из репертуара группы «Ласковый май». Вроде все правильно. Но по Тюльгану-то, по заледенелому, бродил вовсе не абстрактный «Репертуар». И за Юрку, чья болезнь, хоть и косвенно, но была связана с этой песней, переживал тоже не «Репертуар». И позорно выгнали с работы из-за «Метели» вовсе не «Репертуара».

Так стоит ли связывать мою «Метель» только с «Репертуаром»? Хоть и «ласковомаевским»?

Глава 6. Песня с привкусом… гидропирита

Какая из моих песен мне дороже всего? Не знаю… Ко всем отношусь как к детям малым. И стараюсь не бросаться песнями. Не вымучивать что-то из себя на пределе рационального, осознанного, не потакать себе, принимая за собственное отголоски чужих слов и музыкальных фраз. Песни — продукт иррационального, они сами приходят, когда у них появляется желание. И к кому, и зачем прийти — знают, хотя автор об этом может и не догадываться.

Когда я ловлю себя на мысли, что придумываю рифму или натужно обдумываю музыкальную строку — я уже знаю, песня не получится. Можно вставать из-за инструмента, гасить свет.

Все, что люди услышали из моих уст, вернее, из уст моих солистов — все это вышло само собой и сразу же. Хотя вынашивалось не один и не два месяца. Сколько, я не знаю. Может, с самого рождения.

Когда начинаешь ориентироваться на публику, гадать, что подойдет, а что нет, и какое словечко вставить, чтобы оно понравилось подросткам — песня не получится. Поэтому я по заказу не пишу. Меня часто просят: «Кузя, напиши-ка нам песню!». А ее по заказу сделать невозможно.

К сожалению, многие думают по-другому. Считают, что песенки — хорошее средство «на прокорм». Я знаю людей, для которых сочинительство песен — дело чисто коммерческое, рассчитанное на немедленную прибыль. Глядя на них, думаешь, может, и детей они будут рожать с единственной выверенной мыслью, чтобы те не обнесли их в старости куском хлеба. Нельзя так… Выпустить песню — это огромная ответственность, очень огромная.

Я люблю свои песни, как отец большого семейства любит сыновей и дочерей, среди которых нет случайных, нет «нежданок».

Одно больно: я не могу защитить их от ловких рук. Сам я своих песен не эксплуатирую. Естественно, только идиот не мечтает о безбедном существовании, я тоже хочу жить с размахом. Но считаю гнусным гнаться за тем, чтобы песни меня озолотили. Я лишь терпеливо жду, вспомнят ли они обо мне, накормят ли…

Увы, иногда моим песням не до меня. И не потому, что они, как безродные дети, выпорхнули на просторы вседозволенности… Часто они просто попадают в такие руки, из которых не вырваться.

Андрей Разин зарегистрировал товарный знак «Ласкового мая». Ему принадлежит теперь то, что родилось в предновогодней спешке 1986 года.

Ради бога! Ни товарного знака, ни названия «Ласковый май» — ничего мне не нужно. Не нужны разинские солисты. Не очень-то горюю и без Шатунова — раз ему уютнее в разинской компании. Но песен-то моих не дергайте… Хотя бы тех, которые появились после моего ухода из «Ласкового мая», которые написаны для «Мамы», для Саши Прико, для других моих солистов.

Увы, стоит «Маме» выпустить новый альбом — часть песен перекочевывает в репертуар «ЛМ». И люди недоумевают, почему одни и те же песни поют и Прико, и Шатунов. Не объяснишь же каждому, что авторским правом наши песни не защищены. Совокс! Желающие могут испытать негодность авторского права на себе: возьмите и исполните с эстрады песни… ну, хотя бы Розенбаума — и ничего вам не будет, номер пройдет безнаказанно. Точно так же, как и у «Ласкового мая». Мы свои новые альбомы не раскручиваем, нет ни сил, ни времени, ни денег, а может, и опыта нет… да и не в наших это принципах. А Разин на коммерции собаку съел. Наши альбомы скупаются, перезаписываются, засвечиваются на телевидении — потому что у них есть на это деньги, — и попадают с новым товарным знаком в самые престижные звукозаписи. И под маркой «Ласкового мая» неплохо идут, потому что за «ЛМ» — и история, и годы рекламы, и хорошо налаженное производство. Разлетаются наши песенки по совку…

Не дай бог, кому испытать, как его дитятю, едва вставшего на ноги, выводят на панель!

Но вновь и вновь на концертах бойкие ведущие объявляют: «А сейчас свои песни для вас споет Андрей Разин». И попробуй его поймать! Все подносится без криминала. Он называет песни своими, но ведь можно это расшифровать и так: песня моя, потому что я ее исполняю, а кто ее написал — одному богу известно.

А иногда концертные объявки еще хлеще: «Эту песню Шатунов посвящает Андрею Разину?» — и в зале раздается, например, «Розовый вечер». Я написал песню, а он ее посвятил… Зашибись! «Розовый вечер» я написал для Саши Прико и только для него. Не думаю, что Шатунов был бы в диком восторге, узнай в свое время, что какой-то нахал проделывает тоже самое с «Белыми розами». «Белые розы»… Вот про эту песню Шатунов, пожалуй, мог бы сказать: пою СВОЮ песню. Она действительно его. Не потому, что им написана. А в том смысле, что впитала в

себя и магическую атмосферу оренбургского «инкубатора», и характер «маленького оборвыша», каким был Шатунов в свои тринадцать, впитала все издержки его переходного возраста.

Интересно, помнит ли Юрий Васильевич, как записывалась эта песня?

Записывали мы ее с Юрой в конце 1987 года. А вынашивать эту тему я начал за год до того. По-всякому пробовал: и так, и так, и так… Вариантов было куча, но все — мимо кассы, лажа. Какого-то случая не хватало, чтобы песня сама прорвалась сквозь преграды рационального.

А я в то время уже отработал свое в интернате. Уже хорошо был знаком с Юркой. С другими мальчишками и девчонками. Видел их взаимоотношения, их любовные терзания. Любовь кипела как в итальянских фильмах. То рыдания, то кто-то вены вздумал себе резать… Как-то мода пошла наколки на руках делать, имена любимых. Даже девочки закрывались в своих комнатах, обматывали иглу ниткой, макали в чернила и печатными буквами по живому — самое нежное и дорогое на свете имя…

Меня убивало, что многие педагоги относились ко всем этим любовным вспышкам, как к эпидемиям чумы. А если, о ужас, мальчик с девочкой в бытовке закрылся — значит все, атомный взрыв на подходе, надо ломать двери, бить во все колокола и так далее… Зачем? К чему все это? У детей шло нормальное развитие.

Мальчиков и девочек в интернате разделили, одних поселили на шестом этаже, других — на пятом. Вероятно, думали, что так ребячьи души будут правильней формироваться. А может, с природой решили поспорить, не считаясь с тем, что наносят детям психические травмы.

Но от этих «педагогических мер» влюбленные не перестали тянуться друг к другу, не стали равнодушней.

Однажды я увидел, как с шестого этажа, из обледенелого окна, спускаются свитые в канат, связанные простыни, а юный Дон Жуан вскарабкивается на подоконник, и его намерения не вызывают сомнений. Увидев меня, пацан смылся… Но картинка: худенькая фигурка на белом канате, закрытое окно на девчачьем этаже, заледенелое, сквозь которое видны только легкие цветные пятна — эта картинка разбудила во мне песню.

Я шел домой, и во мне эта песня уже жила. Песня не о любви, не о несчастных подростках, в которых пытаются заглушить ростки естественного чувства. Нет, песня была о чем-то другом, в чем мне самому еще требовалось разобраться…

Немного теплее за стеклом,

Но злые морозы,
Вхожу в эти двери,
Словно в сад июльских цветов.
Я их так хочу согреть теплом.
Но белые розы
У всех на глазах
Я целовать и гладить готов.

Пришел домой. Сел за инструмент. И за пятнадцать минут я эту песню сделал.

Сомнений, справится ли Юра Шатунов с этой песней, у меня не было. Песня сложилась для него. Песня была его. Он тоже страдал от неразумной черствости взрослых, он каждый день видел, как от этого страдают его друзья. Может, и сам зависал, вцепившись в простынный канат, над смертельной пустотой. В конце концов, у него была своя любовь. К счастью, удачная и взаимная. Я уже видел, как чувства к своей девочке помогают Юре работать над песнями. И не сомневался, что Юрина переполненность светлой, пьянящей, как хмель, любовью выплеснется и в «Белых розах».

Я очень быстро сделал «фанеру» (фонограммы в тех условиях давались нелегко, слишком «совершенный» был у меня аппарат!). И пошли мы с Юркой ко мне на работу, — я в то время из интерната перебрался в ДК «Орбита», тоже занимался музыкой, дискоклуб был у нас там.

Я говорю Юрию Васильевичу:

— Ну, давай, дружок…

Мы с ним порепетировали немного. Вроде все гладко идет. И Шатунов такой смирненький… Пай-мальчик прямо… Будто незадолго до этого у нас с ним не было никакой крутой ссоры.

Ссорились мы с ним, надо сказать, часто. Основная причина стычек — заниматься ли Шатунову музыкой или не заниматься. Он не хотел, ужасно не хотел. И мне приходилось быть жестоким. (Хотя даже в самых сокрушительных скандалах я не позволял себе того, что Шатунов потом сделал в отношении меня. И мне, и ему — бог судья…)

А скандал, который случился незадолго перед записью «Белых роз», был, можно сказать, традиционным для нас. Шатунов заупрямился:

— Кузя, не хочу репетировать. Там наши в хоккей гоняют. Я к ним…

Я — уговаривать:

— Надо. Давай еще немного… Новый год скоро. Надо поработать, подготовиться к дискотеке.

Он удила закусил:

— Сказал, не буду. Я играть пошел…

Тогда я взорвался:

— Уходи! И больше сюда не приходи! Ты мне не нужен! Начну с Серковым репетировать.

И тут неприступный Юрий Васильевич сел в уголок и — слезы в три ручья… И такая беззащитность в его позе, такая обида в глазах, такое моментальное одиночество во всем нескладном по-подростковому облике, что мне стало не по себе. Вот так же, наверняка, забивался он в угол, когда, малышом еще, обижали его старшие интернатские ребята. Забивался в угол, лил беззвучные слезы, никого не рассчитывая этими слезами пронять. И думал о том, что никому нет дела до его горя, что никому он не нужен.

— Да нужен ты мне, нужен! — закричал я, спохватившись. Подошел, погладил его.

— Вот увидишь, мы еще сделаем из тебя «звезду». Помнишь мое обещание?

Ничего, вроде успокоил… И с тех пор слова «нужен — не нужен» постарался забыть, приберечь их лишь на самый крайний случай. На самый крайний! Кто же знал, что он, этот случай, уже не за горами.

В общем, ту ссору мы пережили. Я уже прекрасно представлял упрямый шатуновский характер, взрывчатость его, поэтому, когда мы стали репетировать «Белые розы» — старался следить не только за аппаратурой, не только за тембром Юркиного голоса, но и за настроением будущей «звезды». Мне хотелось, чтобы ничто не отвлекало его в момент репетиции от собственного внутреннего мира. Только так песня окрасится чувствами исполнителя.

Вроде все шло нормально. Записали первый дубль. Мне очень понравилось несколько украшений мелодии, которые Юра неожиданно сделал. И я предложил ему акцентировать их… Юра еще раз, без микрофона, пропел:

— Белые розы, белые розы -

Беззащитны шипы.

Что с ними сделали снег и морозы -

Лед витрин голубых.

Люди украсят вами свой праздник

Лишь на несколько дней

И оставляют вас умирать

На белом холодном окне…

Мне вариант понравился. Я говорю:

— Ну ладно, отдохни немного. Я перемотаю «фанеру», и еще разик запишем.

Ушел в соседнюю комнату. Перемотал пленку. Вернулся.

Юра стоял у окна. А на подоконнике- бутылка из-под шампанского. В ней — перекись водорода. Обыкновенный гидропирит. Он ужасно похож на воду. Ничем не пахнет, без цвета. Юра и подумал: вода. И безо всякой задней мысли хлобысь — и в рот ату бутылку. И за- дох-нул-ся…

И тут началось. Спазмы. Рвота с кровью. Кашель. И так далее. И так далее.

Вызвал я «скорую». Сделали ему промывание. Немножко оклемался наш Юрий Васильевич. Но только бригада врачей уехала — с ним новый приступ. Снова пришлось врачей вызывать. Так в тот раз первым вариантом «Белых роз» и ограничилось. Не до них было.

Вот таким образом эта песня далась нам. Очень сложно. И я иногда грешным делом думаю, может, история с гидропиритом — не просто случайность, может, сама песня потребовала для себя не только душевных переживаний, но и физических страданий? Юркиных страданий?

А основной вариант, который сейчас и ходит, мы с Юрием записали в феврале 1988 года. Через два месяца после происшествия с гидропиритом.

Собственно говоря, мысль слепить свой альбом приходила ко мне и раньше. Но я отмахивался от нее. Все думал: с моим-то аппаратом да в калашный ряд!.. Хотя вчерновую альбом уже существовал, существовала «фанера» «минус один» с песнями «Белые розы», «Снова седая ночь», «Лето», «Я откровенен только лишь с луною», «Пусть будет ночь». Все эти пять песен мы сделали лишь для того, чтобы можно было отработать новогодние концерты и дискотеки в интернате. А когда Новый год прошел, когда отпели мы его, — мне в башку торкнуло: дай-ка я на все это наложу голос. Потому что ждать аппарата не было смысла. Спрашиваю у Шатунова:

— Готов в «звезды»? Попробуем?

Улыбается без застенчивости:

— Попробуем!

И мы попробовали. Я все приготавливаю в Доме пионеров Промышленного района, куда только что перешел работать из ДК «Орбита». Все-это два магнитофона «Эльфа» и «Комета». Ровно в девять утра там появляется пионер Шатунов с бодрым видом всегда и ко всему готового человека, и мы начинаем работу.

Где-то часам к пяти мы уже все закатали — наложили на «фанеру» голос. Альбом был готов.

На другой день, 16 февраля 1988 года, я отправился в поход по киоскам «Звукозаписи». К одному подхожу и голосом

обладателя дефицита:

— «Ласковый май» надо?

— «Ласковый май»? Че-та мы про такое слышали… Про какие-то дискотеки… (А в городе плохонькие записи с наших дискотек уже погуливали). Да, говорят, в принципе знаем, но не надо…

В одну, в другую, в третью «Звукозапись» прошел — никому мы не нужны. На вокзал двинул: Надо?

И вдруг: Надо!

А спустя три месяца весь наш совок, почти каждой своей квартирой, слушал восходящую «звезду» эстрады Юрия Шатунова. Слушал «Белые розы», не подозревая, какой привкус у этой песни.

Да и другие песни были не «слаще».

Глава 7. Жалко так…

В последнее время в группе (в нашей, в «Маме»!) у всех на языке одно любимое выражение: «жалко так…» Придумал эту фразу наш гитарист Саша Ларионов. Однажды мы не очень удачно выступили. Когда шли за кулисы, Саша поморщился и, растягивая слова, произнес: «Жалко так…» Несмотря на паршивое настроение, нас это развеселило.

Хорошие слова, многозначные и универсальные. Кроме оценки ситуации, есть в них еще ирония, которая не позволяет зацикливаться на том, что не получилось. Скажешь себе «Жалко так!» — и покатил дальше, вперед.

Жалко так — значит плохо, убого, недостойно. Но «жалко так» — это еще и переживаемо, несмертельно… фраза годится и в музыкальных спорах, и в политических, при собственном самоанализе и в оценках бывших друзей.

Поэтому главу о первом предательстве Юрия Васильевича мне захотелось назвать именно так.

Популярность «Ласкового мая» мы почувствовали месяца через два после того, как я прокатил первый альбом через «Звукозапись». Голос Шатунова слышался из автобусов и троллейбусов, несся из открытых окон, звучал на дискотеках. Бурный поток, как говаривал незабвенный Евгений Салонов из «Лит. газеты».

Я думал, это только в Оренбурге так. Нет. Друзья приезжают из других городов, рассказывают: и там слышали, и там, и там… Совок слушал нас!

Собственно, что нас будут слушать все, я знал уже во время записи альбома. Почему? Трудно сказать. Что-то внутри подсказывало, что вот это — не то что песни эти, а песни в ТАКОМ исполнении — будут слушать.

Когда мы только завязались работать с Шатуновым вплотную, все мои друзья советовали мне: дурак, что ты делаешь, чем ты занимаешься, с пацаном с каким-то связался — возьми себе нормального солиста, взрослого, серьезного, который не будет срывать репетиций и концертов. Однажды возникла маза, возможность работать в группе, которая создавалась на серьезной базе. Выделили для них огромную сумму — только создавайтесь, ребята… И идея была неплохая — сделать коллектив из одних клавишных. Я долго думал, но отказался. И правильно сделал. Нельзя слушать чьи-то советы, когда дело касается творчества.

Верность собственным принципам вознаградилась популярностью группы. И я ждал: теперь-то эта популярность,

наоборот, поможет отстаивать мои принципы и дальше. Особенно в спорах с директором интерната Валентиной Николаевной Тазикеновой. Не тут-то было…

Претензий ко мне со стороны Валентины Николаевны к марту 1988 года накопилась масса. Сейчас, когда нас с ней уже ничего не связывает, я пытаюсь объективно, без былых обид, разобраться в ее придирках. Они были достаточно разные. Одни — справедливые, наверное. Это когда нам с Пономаревым пенялось за выпивки.

Слава Пономарев жил тогда в интернате. Там целая перегородка этажа, несколько комнат, пустовали, одну из них оборудовали под общежитие — и Слава в ней поселился.

Иногда мы с ним отрывались. Получим зарплату (а тогдашнему финансовому положению моему — не позавидуешь! Мама была уже на пенсии — и домой вроде денег надо, и дискотеку оборудовать, и…) — так вот получим зарплату, что-то скроим, возьмем коньячку — и сидим, тоску разгоняем. Что-то вспоминаем. Строим планы на будущее. Откровенничаем. Мы с Пономаревым ничего друг от друга не скрывали. Вот за эти отрывы нам и доставалось от Тазикеновой:

— Почему там пьете?! Детское заведение — не положено!

Я говорю:

— Мы же одни, без детей. Дети сами найдут, где выпить.

Нет, нельзя, и все! В принципе, она права.

Другие ее претензии ко мне я хоть и не принимал, но мог понять, что это претензии не педагога, а чиновника, приставленного к педагогике, с которого в верхах постоянно что-то спрашивали, что-то требовали, а помогать — деньгами, разумеется — и не думали. Поэтому понимаю, откуда шло требование Тазикеновой, чтобы я работал не с одним солистом — Шатуновым, а набрал бы себе минимум — хор. Она постоянно подчеркивала, что семьдесят рублей мне платят не за Шатунова, а за то, чтобы я работал с тремя группами по 15 человек. Им нужен был охват. А мне — один солист, но классный. Это несовпадение интересов шло от интернатской бедности, запущенности. Да что б с каждым ребенком только один взрослый работал?! Да что б его индивидуальные способности развивал? Не было на это у наробраза денег.

Затею сделать из меня хоровика Тазикенова, в конце концов, оставила. После первых интернатских дискотек она увидела, что «Ласковый май» — это не просто амбиция какого-то Кузи, а дело, полезное всему детдому. Мы же для всех работали… Дети под музыку отдыха ли, танцевали. Кроме того, и Тазикенову спасали, когда нужно было заткнуть дыры в многочисленных смотрах

художественной самодеятельности и фестивалях, не посрамить «чести интерната».

Но это не означало, что Валентина Николаевна оставила меня в покое. Денег на группу не выделялось, а спрос с меня возрастал. Приходилось на пупе вертеться, чтобы из нашего дохлого аппарата выдоить мало-мальски приличный звук. Но музыкальных эстетов из руководства этот звук не удовлетворял. Доходило до курьезов.

Однажды Тазикенова решила разобраться, почему мы стали работать не вживую, а под фонограмму.

Я ее спрашиваю:

— А вы хоть копейку вложили на развитие группы, на то, чтобы мы могли без «фанеры» работать?

— Двадцать тысяч вложила…

А эти двадцать тысяч, причем безналиком, выделил мне бывший директор интерната, когда я там еще до армии работал. Я аппарат купил — и в армию ушел. Пришел, а все уже раскурочено, кто-то от души помузицоровал… Пришлось свои зарплаты вбухивать в это дело. 70 рублей получу — и почти все «на развитие группы». То радиодетали купить надо, то провода, то лампочки, то на оформление дискотеки. Но кому докажешь, что моих семидесяти недостаточно для хорошего, чистого звука, для работы без «фанеры»… Тазикенова приказывает:

— Никаких фонограмм! Будет фестиваль — я специально проверю. Только попробуйте честь интерната своей фальшивкой опозорить.

Вот и фестиваль, как бельмо на глазу. Он проходил у нас в «инкубаторе» и гордо назывался «Слет детских домов». Подошло время нашего выступления, и я поставил «фанеру». Иначе не выступить! Просто технически невозможно!

А у нас люди не понимают, что фонограммы бывают разные. Что не все — халтура. Что есть «фанера» «минус один». То есть только музыка, а голос не записан. Голос, как положено, — через ревер и в портал, если то безобразие, где мы выступали, можно назвать порталом.

…Выступаем. Появляется Тазикенова. Начинает возмущаться.

— Сережа, я же просила… Нельзя так! Почему он не поет? Почему обман?

Я молча остановил фонограмму, а Шатунов продолжал петь без музыки.

Однажды, это было в марте 1987 года, готовился районный смотр художественной самодеятельности. Мне сказали:

— Кузя, от вас нужна песня…

Нужна, так нужна. Мы с Юркой подготовили «Тающий снег»,

«Лето» и премьеру «Метели». Приезжаем на смотр, а он, оказывается, посвящен очередной годовщине Лукича, нашего незабываемого Ленина. А мы — со своим «Тающим снегом»… Привет Лукичу!

Но «Тающий снег» мы еще исполнили. И «Лето» исполнили. А премьера «Метели» так и не состоялась. Нас попросту вышвырнул» со сцены.

Для Тазикеновой тот смотр стал последней каплей терпения. Сначала ее голос, сдерживающий гнев, несся от судейского столика:

— Ну, хоть 4 балла поставьте… Хоть 3… Хотя бы за голос… Детдомовский ведь мальчишка… А с этими песнями я разберусь!

Потом она подошла ко мне:

— Сережа, что за ерунду вы спели? Есть столько хороших песен, задорных, пионерских. Почему вы только свое поете? Я ведь вас предупреждала: все тексты мне на стол, на проверку. Не послушались… Теперь на себя пеняйте! Завтра на работу можете не приходить. Вы уволены.

Уволен, так уволен! Я не шибко огорчился. Без работы, знал, не останусь: предложений о сотрудничестве было достаточно… Знал так же, что Шатунов, что бы ни случилось, не покинет меня…

Я полностью перебрался в ДК «Орбита». И с головой погрузился в организацию дискоклуба. Шатунов на лето уехал в свой Тюльган. Когда же начался учебный год, мне неожиданно позвонила из интерната № 2 замдиректора по культурно-массовой работе (кажется, такая у нее должность была) и сказала:

— Кузя, приходи… Снова поработаем… А кто старое помянет…

Я не стал ломаться. Чиркнул в своем блокнотике на память: «12.09.87 — Второй день рождения «ЛМ»- и отправился к Юрке Шатунову. От ставки в интернате я отказался и из ДК «Орбита» увольняться не стал. Решил, что так в интернате мне будет повольготнее,

Мы репетировали новые песни, Я по-прежнему проводил дискотеки для ребятишек. И какое-то время Тазикенова меня не доставала. Относительно спокойный период длился аж до февраля 1988 года. А в феврале произошло два заметных для судьбы «ЛМ» события…

Во-первых, вышел первый наш с Юркой альбом (я об этом уже рассказывал). Он загулял по стране семимильными шагами и… словно стал катализатором разрушительной активности Валентины Николаевны, ее новых кавалерийских атак против меня. Если прежние тазикеновские претензии ко мне я мог еще

как-то объяснить, то все, что сделала она после выхода альбома, моей логике неподвластно.

Меня обвинили, что я развращаю мальчика ранней славой… Что он зазнался… Нисколько! Юра попросту даже не осознавал, что случилось, что мы с ним натворили. Понимание того, что он значим, пришло к нему лишь в Москве, когда мы уже перебрались под крыло Разина. Но даже тогда это проявлялось не в звездной болезни, не в эгоизме, а в виде формальных требований того, что он действительно заслужил, заработал: компьютер, видак, мотоцикл.

Еще меня начали упрекать, что я использую Юру в коммерческой деятельности. Что зашибаю на нем бабки. Что мы с ним даем подпольные концерты. А мы вне стен интерната всего два раза выступали. Кроме злополучного смотра в честь Лукича, еще на одном таком же фестивале (этот-то фестиваль и стал вторым февральским событием)… Причем тогда я как раз был против, чтобы Юрку тревожили. Он перед этим умотал из интерната к своим родичам — а сбегал он чаще и чаще — и, повинуясь моде, захлестнувшей тогда инкубатор, смастерил себе поджиг. Стрелком оказался еще тем — и нечаянно прострелил себе руку. Правую, кажется. Приехал — а у него рука распухла.

Тазикенова напоминает:

— Не забудьте про фестиваль.

Я говорю:

— Какие выступления? Его в больницу нужно.

— Отработаете, потом в больницу. Только один уговор: сначала споете «Детство, детство…» Потом какую-нибудь советскую песню. А третью можете свою…

Кое-как с «благословения» директора отработали мы концерт. Спели, естественно, то, что посчитали нужным. Когда за кулисы ворвалась Тазикенова, я понял: все, точка, в интернат мне путь заказан… Но Валентина Николаевна была удивительно спокойна:

— Сережа, как ты не можешь понять, что это не какой-нибудь салон… Это же зал, где сидят дети, школьники…

Если бы я знал, как обманчиво это спокойствие!

Мы не стали дискутировать о различии светского салона и школьного зала. Поехали с Юркой в больницу. Там ему вытащили дробь, сделали промывание. (Из-за этого прострела, кстати, пошел слух, что Ю.Шатунов пытался покончить с собой. Кто-то в этом слухе уже нуждался…)

Вот такой у нас был концерт — «подпольный». А других не было, хотя приглашение сыпалось за приглашением… В те февральско-мартовские дни мне иногда казалось, что мою кассету с «Белыми розами» кооператоры из «Звукозаписи» обули в сапоги-

скороходы (не одних же доверчивых авторов обувать!)…С каждым днем все больше поклонников отиралось возле интерната. Там и местных-то во всю гоняли, чуть что — сразу милицию вызывают. А здесь такой наплыв, что одной оренбургской милицией его не погасить. Подростки слонялись под «инкубаторскими» окнами, чтобы хоть краем глаза посмотреть, что за птица такая — Юра Шатунов… Бедная Тазикенова! (Я все еще не подозревал, что оренбургскую милицию Валентина Николаевна собирается использовать вовсе не для разгона поклонников…).

Странным был тот месяц. И радостным, сладким, как переспелая черемуха. Терпко-дурманящим голову от мысли, что я на правильном пути, мои творческие принципы меня не подвели. И одновременно горьким, словно дым пожарища. Тревожным.

Откуда веет дымом — я перестал сомневаться в последний день марта. По весне Шатунова все труднее было усадить за парту, его побеги из интерната становились все продолжительнее. Все это незамедлительно было связано с «Ласковым маем». 31 марта я появился в «инкубаторе» и услышал от Тазикеновой:

— Чеши отсюда, Кузнецов! Я сделаю все возможное, чтобы вы с Шатуновым не работали вместе.

Но я еще надеялся, что «Ласковый май» не погиб. Что одумается Валентина Николаевна… Надеялся, что какие-то шаги навстречу будет делать Юрка, оттуда, изнутри интернатского бастиона. Под эту глупую свою надежду я даже принял два приглашения выступить с концертами. Из толп зазывал выбрал тех, кто предлагал альтруистические варианты. Во-первых, дал согласие на проведение дискотеки в ДК «Россия». Прельстило, что сборы пойдут в Детский фонд (я тогда еще верил, что деньги оттуда попадают действительно обделенным судьбой детям). Заранее написал заявление, кому адресую всю выручку. Но дискотеку запретили. Постаралась Валентина Николаевна.

Второе приглашение, на которое я делал свою ставку — приглашение в ДК «Дружба». Там проходила тусовка местных групп и Сереги Сарычева из «Альфы». Сборы от этой тусовки планировалось направить на строительство в Оренбурге памятника воинам — интернационалистам. Но перед самым началом концертов их организаторам позвонили из горисполкома и категорически запретили выступление «Ласкового мая», таинственно-зловеще намекнув для острастки, что Кузнецовым, мол, кое-кто интересуется… Я как-то тогда не вник, почему горисполком ввязался в эту историю. Просто не хотел вникать, хотел работать. И по-прежнему надеяться, что Шатунов тоже хочет работать. Со мной.

Глупый Кузя! Какими смешными кажутся мне сейчас эти

надежды. Увы, тогда я не смог подметить, смену шатуновского настроения. А мог бы… События давали мне блестящую подсказку.

Однажды я по старой памяти заглянул в интернат, а там телевидение. Операторы уже зачехляют свои камеры. Оказывается, весть о «Ласковом мае» докатилась и до неповоротливых оренбургских телевизионщиков. Письма к ним косяком полетели, как птичьи стаи на юг. Вот они и насторожились: что за феномен такой — прет квашней из кастрюли. И решили сделать передачу. Позвонили в интернат. Директор на запись согласилась, но поставила одно условие: только Кузю не снимать! Ни-ни! Вот телевизионщики и нагрянули в детдом. Сначала записали множество бесед со случайными прохожими: как они относятся к «Ласковому маю». Ответы, в основном, были положительными, и у молодых людей, и у пожилых. Потом задали несколько вопросов Шатунову. А после этого попросили Юрку спеть что-нибудь под гитару. И этот друг замочил им Леонтьева: «И вновь… что-то там тако-ое… ма-ач-ты выплывают…»

Самого Юрку я на съемочной площадке не застал, но когда мне рассказали, как он классно подменил Валерия Леонтьева, у меня в глазах потемнело.

Это же безобразие. Безликость. Это страшное обезличивание себя — петь чужие песни. Уйти от моего репертуара — это себя опустить и унизить в глазах многих. Не захотел мою песню петь — не надо. Не в этом дело. Все равно какая-то индивидуальность должна была проявиться в выборе песни. «Мачты выплывают!».. Индивидуальность уплывает, а не какие-то странные мачты!!!

Я спешно позвонил на телевидение. Не надо, говорю, ребята, эту песню показывать. Вы просто обезличиваете и его, и меня. Ему-то, в первую очередь, медвежью услугу оказываете.

Мне ответили: «Кузнецов, ты портишь ребенка. Не вмешивайся, не трогай его». Вот таким образом посоветовали. А передача вышла. С информацией, что я ушел из интерната. Что такой-то и такой-то я. Что хоть и продолжаю писать песенки, но понял, что не мое дело воспитывать детей.

А я и вправду понял, что не мое это дело.

Кстати, оказалось, что та передача сохранилась в эаписи, и совсем недавно ее прокрутили по общесоюзной программе. По областному-то ТВ — ладно, вышла ну и вышла, это было два года назад, но сейчас-то зачем эту лажу?.. (И это после того, как мы с ними сотрудничали, уже группой «Мама», «фанеры» делали, музыкальные заставки бесплатно…) Я написал им письмо через областную молодежку, что все это нехорошо… А они также через

газету мне ответили. Не помню их формулировок, но короче — они правы.

Повтор этой передачи довольно-таки болезненно резанул по мне. Потому что вспомнились, отчетливо и остро, события двухлетней давности. Вспомнился первый эфир этой передачи, по-новому осветилась Юркина измена своему репертуару и слова телевизионщиков о том, что я порчу ребенка. И условие Тазикеновой о моем неучастии в телепрограмме. Оказывается, все, что Валентина Николаевна делала в от ношении меня до этого, было второстепенным, побочным. Все это были щепки от того леса, к которому она втайне примеривалась с топором. Валентина Николаевна готовилась к главному удару. Такому, чтобы одним взмахом снести и «Старый лес», и «Белые розы». Сровнять до фундамента «Чужой город», а «Метель» над ним смешать с «Летом», наслать на «Цветы» «Вечер холодной зимы».

Чтобы избавить подростка Юру Шатунова от моего дурного влияния, она решила, что выгнать меня из интерната — полдела, что надо покончить и со мной, и с добрым именем «Ласкового мая» раз и навсегда.

В апреле 1988 года наступательные позиции Валентины Николаевны были обеспечены — и она нанесла единственный, но решительный удар. Должный стать бесповоротно победным.

За несколько месяцев до этого в интернате случилась кража. Украли один «конец» — поганенький усилитель «Эско» — и цветомузыку, суммарно — рублей на 150–200… Я первым обнаружил пропажу. Пришел в свою комнату, а окно разбито, и кой-какого аппарата нету. Я заявил в местную полицию, спустя несколько часов они приехали, сняли отпечатки, что-то там поколдовали и умчались восвояси. Искали, искали воришку — так ничего и не нашли. На этом дело и заглохло. Казалось бы…

Но когда понадобилось растоптать меня, историю с пропажей аппаратуры бережно вспомнили. Как-то прихожу я домой, а у меня обыск. Обстоятельный, пугающий, напоминающий о 37-м годе. Объясняют мне: ищем ту самую аппаратуру. И странно ищут-то… «Конец», усилитель то есть, предмет достаточно объемный, а шмонают такие закоулки, куда и батарейку от фонарика не втиснешь. Не знаю, чего уж они там искали… Потом мне друзья объяснили, что по городу пошли базары, будто я балуюсь наркотиками. Может склад марихуаны мечтали обнаружить? Поискали, попытали (не физически, слава богу) — и ушли.

Потом вызвали в милицию. Про кражу — ни слова. Про наркотики — ни слова. Новая тема наших доблестных стражей порядка заинтересовала. Следователь забросал меня вопросами,

где я торговал кассетами с первым альбомом? Через кого торговал? Куда спустил бешеную прибыль? В общем, пытались раскрутить, правда ли, что я продал нашу с Юркой работу за 25 тысяч.

— Нет, — говорю, — неправда, Я отдал кассету в «Звукозапись» и получил за это чисто символически. Ровно столько, что хватило купить двое часов. Одни — себе, другие — Юре Шатунову.

На прощание следователь мне сказал:

— Дешевое у тебя творчество, Кузнецов!

Я лишь плечами пожал, потому что ни фига не понял: то ли это оценка моего творчества, то ли индульгенция, отпущение всех грехов: мол, действительно, Кузнецов, на 25 тысяч рублей твой альбом ну никак не тянет, не виноват ты, батенька…

Вот. Дело против меня скисло, как молоко на солнцепеке. Победоносный удар, на который так рассчитывали директор интерната и примкнувшие к ней дамы из отдела культуры горисполкома, не удался. Не женских рук это дело. Но каково же было мое удивление, когда я узнал, что «ДЕЛО» действительно не женских рук. А рук… Юрочки.

Не знаю, чем уж они его так сильно загрузили, но Юра согласился написать заявление на меня. И написал, что видел украденный из интерната аппарат у меня, на новой моей работе. И много другого написал, как это ни парадоксально. Чем его загрузили, что он буквально в считанные минуты переменился, так и осталось тайной. В эти по дробности и не вдавался.

Я просто вдался в работу. В клавиатуру инструмента. В белые листы бумаги. И хотя я никогда не пытался и не пытаюсь в песнях и стихах передавать факты своей биографии — дело это дохлое, — но текст, соскользнувший однажды с пера, слегка напомнил мне обыск в моей квартире, допросы, слухи обо мне, загулявшие по Оренбургу. Напомнил слегка. Стихи все-таки не о Юре. Потому что предательство на земле было, есть и будет, и важней подготовиться к возможной боли быть преданным. Хоть в стихах подготовиться. Вообразить себе эту боль — и пусть она, как противогриппозная прививка, чуть-чуть смягчит боль реальную, если та вдруг настигнет меня, тебя, всех нас… Увы, предательства избежали немногие.

Ты собираешься в обратный путь -
И у костра останусь я один.
Ну что ж, иди,
А мне не повернуть,
Я не хочу сойти на полпути.
Как жаль, что выбрал именно тебя себе в друзья,

В хранителя всех тайн…
Но не держать же мне тебя в цепях…
Иди обратно, и болтай, болтай…
Не думай, я не буду проклинать тебя,
Твои фальшивые черты.
Прекрасно, что есть свойство забывать.
И дай мне бог, не стать таким, как ты!

В милицию меня больше не вызывали. Валентина Николаевна Тазикенова приуспокоилась. Юра Шатунов, случайно попавший мне на глаза, сказал, что больше работать со мной не будет. И если бы Саша Ларионов появился на моем пути раньше и подарил бы свою замечательную фразу, то все происшедшее я оценил бы с олимпийским спокойствием:

— ЖАЛКО ТАК…

Жалко, что 31 марта 1988 года мой «Ласковый май» распался во второй раз. Как оказалось — теперь уже навсегда…

Глава 8. Лево руля?

Нет, курс прежний!

В мае1988 года комке прицепилась Оренбургская филармония!

— У нас по области идет фестиваль «Русское поле». Давай, Кузя, мы твой «Ласковый май» на гастроли запустим.

— А нету больше, — отвечаю, — «Ласкового мая». И Шатунов мне теперь как-то до фени.

— Слышали, слышали… — бодренько заявляет представитель филармонии. — Ничего, музыканты ругаются — только тешатся. Мы все организуем. И Шатунова из интерната отпросим. И директрису к порядку призовем. В этом фестивале заинтересован сам облисполком. Кстати, заодно и песни твои зарегистрируем там. Чтоб не выглядели они бесхозной добычей.

По поводу «добычи» я внутренне ухмыльнулся. По тем временам регистрация песенного материала была формой цензуры. Если Тазикенова простодушно предлагала «все тексты на стол на проверку», то научно-методический центр (или как там эта «бенкендорфщина» называлась?) при отделе культуры облисполкома действовал тоньше: делал видимость заботы об авторском праве. И никаких гастролей без подобной «заботы» быть не могло…

Я пожал плечами: попробуйте…

С регистрацией моих песен все прошло гладко. 20 мая Оренбургский облисполком зарегистрировал (читай: «отцензурировал») «11 наименований».

А вот «Шатуновым вышла осечка. Обескураженный «филармониист», как школьник, отчитанный за непослушание, развел руками: «Шатунова директор не отпускает…» Потом он вновь обрел былую уверенность:

— Ничего. Давай Пахомова запустим… Тоже верная «касса»…

Я подумал и согласился. За несколько дней до этого мы с Костей раздали по «Звукозаписям» (не отказывался уже никто!) новый альбом, в его исполнении. Гастроли могли послужить рекламой этому альбому. А главное, могли подсказать: существовать ли новому «Ласковому маю». Т а к о м у.

…Костя появился у нас после того, как мы с Шатуновым «раскрутили» первый альбом. Пришел и сразу быка за рога:

— Хочу петь…

Я его прослушал, вроде все нормально. Слышит хорошо. Голосом владеет неплохо, голос хороший, чистый. Но я сразу понял: это не «мой» голос, мне такой не нужен. Однако,

поскольку у нас мертвым грузом лежало несколько песен, которые не подходили Юре, я решил записать их с Костей. Подошел к Шатунову:

— Юрий Васильевич, как ты, если я с Пахомовым запишу то, что тебе негоже?..

Он:

— Валяй!

Ты начал складываться Костин репертуар. В него вошли песни «Вечер холодной зимы», «Что ж ты, лето», «Цветы»… Потом, уже специально для Кости, я написал «Встречу», «Самый первый полет»… (Позже я сдуру переписал их Разину. В чем вина полностью моя…) С этим репертуаром мы и двинули по области.

Работали мы на этих гастролях концертов 50. По 2, по 3 на дню. И получали «бешеные» деньги — аж по 5,50 с концерта! Приезжаем с Костей на стадион — давай аппаратуру разгружать. Разгрузили, отыграли. Давай ее в автобус затаскивать. Перебираемся к местному Дворцу культуры… Там то же самое. Разгрузили — отыграли — погрузили. А впереди еще третья площадка… И это все за несчастные гроши. Поэтому, наверное, ничем хорошим те первые гастроли не запомнились. Хотя принимали нас неплохо. Аплодисменты, цветы, поклонницы.

Знаки зрительского внимания Костя принимал без тени смущения. От этого мне было неловко. Я-то знал, что все это не для него. В действительности все это предназначалось Шатунову. Потому как шли на него. Потому что слышали первый альбом. Хотя… первые гастроли… У любого может голова от успеха закружиться… Не только у шестнадцатилетнего паренька, каким был тогда Константин.

Я все больше и больше поражался разнице между Юркой и Костей. Шатунов бешеный. Иногда в шутку я грубовато называл его «клок бешеной плоти». Редко бывало, чтобы его выход на сцену обходился без маленьких происшествий. То о колонку споткнется — опрокинет ее. То за какой-нибудь провод зацепится — провод отключится. То микрофон уронит.

Пахомов же был уравновешенным мальчиком. Несколько самолюбивым. Очень начитанным. Он не курил и категорически выступал против алкоголя (кажется, до сих пор этими вещами не балуется). Конечно, в обыденной жизни такой букет достоинств только украшает человека. Но на эстраде, на мой взгляд, нужен бунтарь. По крайней мере, мне нужен был бунтарь… Я видел, что у Пахомова собственная музыкальная стезя. И он обязательно найдет ее, если ему чуточку помочь, поддержать его.

Обо всем, об этом — о его будущем, о музыке, эстрадной и классической, мы говорили с Костей в редкие минуты отдыха

между концертами. Оказалось, он не любит дискотни, не поклонник попсовых дел. Его влекла серьезная музыка. Возможно ли было с Шатуновым подискутировать о классике?.. Да он бы через две секунды уснул!.. Косте же было интересно, кто из Великих у меня в кумирах. И я рассказывал ему, почему люблю Антонио Вивальди, почему у Людвига Ивановича Бетховена мне нравится только 14-я и почему ненавижу Прокофьева и Скрябина.

— Потому что атональны? — догадывался Костя, и это был вопрос не мальчика, но мужа.

Еще в своих заумных беседах мы касались астральных вопросов. Но на откровения все же я с Костей не шел. Они ему были не нужны. Он был самодостаточен.

Пахомовское отношение к попсе изменил, возможно, один эпизод, который случился почти к концу гастролей. Как-то после концерта ко мне подлетел один мужик:

— Ты Кузнецов?

— Я.

— Тогда — спасибо. Твоя музыка мне жизнь спасла.

Оказалось, что он в степи напоролся на острый предмет и проткнул себе печень.

Ситуация была критической, и в какой-то маленькой больничке, то ли под Новосергеевкой, то ли еще под каким-то районным поселком — уж не помню, решились на операцию. Условий для общего наркоза там не оказалось, и сложное хирургическое вмешательство пришлось делать под местным обезболиванием. А чтобы отвлечь бедолагу от собственных внутренностей, ему врубили «Белые розы».

Костя молча слушал эту историю, а я радовался, что у него хватает такта не спрашивать, давно ли это было, и под чью запись шла операция, под шатуновскую или его, пахомовскую…

После гастролей я решил, что еще какое-то время можно поработать с Костей. Это укоротит его дорогу к собственной цели. Мне же поможет заполнить мучительную паузу, которая возникла из-за поиска нового солиста.

Пуда соли во время фестиваля «Русское поле» мы с Костей не съели. Огня и воды не прошли. Медных труб — тоже (не в духовом оркестре гастролировали). Но изматывающий график работы, обессиливающие погрузки — разгрузки аппарата — это все выдержали. И Костя оказался надежным коллегой.

Между тем Оренбург, его культуртрегерская верхушка, переживали глубокий шок: к ним приехал ревизор… то бишь Андрей Разин. Он обставил свой приезд по классической гоголевской схеме, известной еще из знаменитого «Ревизора», и оренбургское чиновничество повело себя так же классически, в

духе провинциального трепетания перед могущественным «центром».. О том, как развивалась эта комедия, рассказано немало, в том числе и самим Разиным. Мне трудно здесь что-либо добавить, поскольку свидетелем этих событий я не был. Все происходило без меня.

Разин появился у меня дома к концу своей «инспекционной» поездки. Предложил с ним завязаться. Я тут же согласился. Оренбургская атмосфера, сложившаяся к тому времени вокруг меня, ничего хорошего не сулила. Разин же обещал златые горы. Конечно, узнай я своевременно некоторые факты, связанные с разинским приездом в Оренбург, я бы насторожился. Но эти факты всплыли гораздо позже. Выяснилось, в частности, что отношение Андрея ко мне было вовсе не танин однозначным, каким он его представил, явившись ко мне домой. То ли он сомневался, не помешаю ли я ему в «новом» деле… То ли вел какую-то свою игру… По крайней мере, когда он посетил редакцию областной молодежки, то на эпитеты в мой адрес не скупился. Вячеслав Моисеев, сотрудник газеты, вспоминает об этом так:

«Однажды жарким летним днем в мой кабинет вошли двое — директор областного научно-методического центра А.И.Рублев и неизвестный мне худощавый молодой парень среднего роста.

— Вот, — сказал Алексей Иванович, — товарищ из Москвы. Хочет с вами поговорить.

Парень предъявил командировочное удостоверение на бланке, помнится Министерства культуры, а также корочки, в коих значилось, что податель сего Разин А.А. работает в студии а Рекорда опять-таки при Министерстве культуры…

…Андрей Разин принялся ругать нашу редакцию за то, что мы осмелились напечатать статью о «Ласковом мае» без согласования с директором школы-интерната № 2 В.Н.Тазикеновой. Много интересного узнал я в тот день от товарища Разина — и что мальчик травмирован свалившейся на него славой, а ему надо учиться, и что директор интерната озабочена дурным влиянием на Юру Сергея Кузнецова, и что Кузнецов наркоман, пьяница и еще чего похуже (вообще им прокуратура занимается), и что Юру эксплуатируют и наживаются на нем…

…Я начал тихо звереть, когда Разин по третьему кругу принялся объяснять, что мы были неправы, напечатав заметку «Неизвестные «звезды». Я не мог уяснить, что же ему от нас надо. А надо ему было, как я теперь понимаю, чтобы мы с дрожью в голос заверили, что больше никогда-никогда не станем писать о «Ласковом мае» и уж, конечно, не поместим впредь ни одной

фотографии группы. Для чего это было нужно Разину? Могу только предполагать. Разин понимает, что при почти полном отсутствии информация о «Ласковом мае», он может легко вжиться, «трансплантироваться» в нее, чтобы стать неотъемлемой ее частью. К тому моменту, когда группа появится на телевидении, зазвучит по радио, когда о ней начнет писать центральная пресса, он, Андрей Разин, «как тут и был» с самого начала…»

Наверное, догадка Славы верна. Но мне в то время, летом 1988 года, не хотелось видеть в приезде Андрея никакой крамолы. Я видел в нем такую озабоченность судьбой группы, какую до этого не встречал ни у кого. Он четко и энергично расписал перспективы, план действия, и я понял, что с этим администратором не пропадешь.

4 июля я отправился в Москву. Я знал, что этот день сулит мне какой-то новый этап в жизни. Вот какой только — плохой ли, хороший — не догадывался. И сейчас удивляюсь, что собственная рука, водимая необъяснимой интуицией, вывела тогда в «историческом» блокноте: «4.07.88 Рождение «левого» «Мая». Хотя интуиция тут ни при чем. Просто в первый же день я узнал факты, которые меня насторожили. В Москве я с удивлением обнаружил, что Разин под нашу фонограмму уже несколько дней проводит концерт некоего мифического «Мая». Да не где-нибудь в доверчивой глубинке, а в центре столицы — в ЦПКиО им. Горького…

Потом…

Потом…

Потом…

В общем, конфликты с Разиным у меня начались с самого начала. И с самого начала были все основания назвать то безобразие, которое он делал — «левым» «Маем».

Нелюбовь у нас в народе к левой стороне. И всякую халтуру почему-то называют левой (левый рейс, левый заработок). И плюются-то, отгоняя нечистого, через левое плечо. Может, в нечисти все и дело? Может, издавна заметил народ, что все нечистое на совесть подбирается к человеку слева, там, где ближе доверчивое сердце и где не защищена оружием рука?

…Пели в разных концах страны под шатуновскую фонограмму «левые» солисты. Разваливался, погибал мой «Ласковый май», не успев воспрянуть из пепла. И даже Пахомов не мог спасти положения. (По тем причинам, о которых я уже сказал, брать в Москву Костю я вообще не собирался. Им заинтересовался Андрей, и при первой же встрече с Костей у меня дома, в Оренбурге, пригласил Костю с собой. Если бы не Андрей

Александрыч, Пахомов бы до Москвы не добрался, он должен быть благодарен Разину за это, хотя тот его и гасил постоянно, перекрывал кислород… Например, однажды запретил работать в Питере, где мы выступали…) Угасал «Май»… Будто нарушив календарную череду, вплыл в осень, в промерзлый ноябрь. Немудрено, что в это тоскливое время я вспомнил о Шатунове. Дай, думаю; слетаю к нему…

Юрий Васильевич встретил меня, как ни в чем не бывало. Все, что было связано с конфликтом между нами, сошло с него, как с гуся вода.

Мы с ним поговорили. Он мне рассказал, что недавно его вызвала Тазикенова и спросила:

— Хочешь в Москве учиться?

Он ответил:

— Еще чего…

— Нет? Ну, все, иди! — и ничего не объяснила: почему в Москву, зачем, с кем… Оказалось, этот вызов был связан с официальным запросом Разина, цель которого — перевести Юру в интернат № 24 города Москвы. Разин не собирался отказываться от Шатунова, Шатунов был нужен и ему.

Все это я рассказал Юре. Юра сразу же загорелся:

— Кузя, я с тобой поеду в Москву!

— Нельзя, — сказал я. — Снова скажут, что я тебя своровал. А сам подумал, оставь Юрку здесь, его снова так загрузят, что потом никаким способом не вырвешь.

Я позвонил Разину. Узнав о моих планах, он заявил:

— Никакого самовольства! Хорошо, что ты с ним встретился, восстановил отношения. Но больше ничего не предпринимай. Это дело криминальное. Я сам его выцарапаю…

Организаторского таланта Андрея Александровича я еще не знал во всем объеме, зато знал все «таланты» Тазикеновой. А тут еще сам Шатунов настаивает: «Поехали…» Ну, поехали, так поехали. Я взял билеты, и 9.09.88 мы с Шатуновым оказались в Москве, у Разина, который просто обалдел от нашего поступка. Он тут же начал оформлять Юрку в школу-интернат № 24. Когда все формальности с устройством Юры в интернат закончились, он подключился к нашим гастролям. Барнаул, Северодонецк, Запорожье… Другие города и веси…

Концертные поездки эти были отлично организованы. Во-первых, все-таки гастролировала группа, пользующаяся феноменальным успехом, на 100 процентов обеспечивающая кассу, поэтому люди, которые нас приглашали, расшибались в доску, чтобы все проходило четко, слаженно. Нам давали возможность хорошего отдыха. Бассейн — пожалуйста…

Пострелять — пожалуйста… Покататься на машине — пожалуйста… Природа, шашлык — ради бога… Успех гастролей, конечно, во многом зависел и от наших администраторов. От Разина. От Аркадия Кудряшова. Как организаторы они оказались действительно высочайшими профессионалами. Оформление сцены, свет, костюмы — все стало качественнее. Массу сил Разин потратил на рекламу, чтобы поддержать те слухи, легенды, мифы, которые в огромном количестве, витали среди наших поклонников. Плакаты и фотографии расходились в огромных количествах. Просто в чудовищных…

Мне стало казаться, что все наладилось, что «Май» опять тепл и ласков, что Андрей прислушивается к моим словам, что я опять имею в группе прежний вес. Как-то я привез я Москву из Оренбурга Сергея Серкова. Говорю:

— Разин, давай возьмем барабанщика…

А Серков — это же шатуновский друг, это же два ханыги — не разлей вода, и воровали вместе, и курили… Шатунов: «О, я двумя руками «за!» А Разин посмотрел:

— Нет, по внешности не подходит. Вези его обратно.

Я говорю:

— Только через мой труп! Это же какая травма для ребенка, когда его взяли в Москву, обули, одели, показали ему, что такое более-менее нормальная жизнь… А потом обратно — в г… Или ты его оставляешь, или я уезжаю вместе с ним.

В общем, уломал. И даже гордился, как ребенок, своей победой. Потом точно так же перетащил из Акбулакского интерната еще двух юных талантов — Игоря Игошина и Сашу Прико. Хотя здесь Разин уже не возражал.

О Прико мне хочется сказать немного подробнее, потому что это мой нынешний солист. И он, и Игорь Игошин, который теперь тоже у меня, учились в Акбулакском детдоме. Их самодеятельность я слышал давно, еще до переезда в Москву. Я частенько наведывался в Акбулак, потому что Слава Пономарев после нашего конфликта с Тазикеновой снова перебрался туда. Он создал там самодеятельную группу, в которой участвовали Саша и Игорь. Мне нравилось, как они поют, как играют.

И вот в январе 1989 года я решил перетащить их в Москву (наверное, уже жила во мне уверенность, что Шатунов — отрезанный ломоть). Приехали с Кудряшовым в Акбулак. Обратились к администрации. Нам отказали.

А Саша с Игорем уже окончили 8 класс. Они были вольны сами определиться, что им делать, чем им заниматься. Поэтому мы с Аркадием объяснили ребятам ситуацию и сказали:

— Хотите — поехали!

Так они появились в Москве.

Сашка неплохо играл на клавишных, и его поставили на «расческу». Этот инструмент имел богатую историю. Когда-то на нем играл Маруани из «Париж — Франция — Транзит». Потом «расческу» перекупили «Земляне». А уже у них ее приобрел Андрей Разин. Говорит, что за 5 тысяч. Кроме солидной истории, инструмент имел еще солидный вес и солидные размеры. Сашка же был маленького расточка (это сейчас он вымахал). И вот он бегает по сцене с этим инструментом, крутится, а клавишные раз — и поволокут его…

Он жалуется после концерта:

— Кузя, меня заносит с этой «расческой».

Я отшучиваюсь:

— Что ж, придется перевести тебя в солисты. Уж если Разин туда просится, то тебе-то сам бог велел…

Шутки шутками, но мысль сделать из Прико классного солиста у меня действительно появилась. По многим параметрам он подходил для этого.

Саша хороший парень. У него много-много родных братьев и сестер. (Сейчас два младших Прико учатся в том интернате, где начинался «Ласковый май»). Так что забот у Саши — целая куча, и он с ними неплохо справляется.

Саша любит тяжелую музыку. Его кумиры — Дэвид Ли-Род, Осборн, Хэлловин… А попсу жалует только мою.

Я думал, увлечение Саши «металлом» — достаточная характеристика его характера. Я, наконец, нашел того человека, которого искал с поры первого конфликта с Шатуновым. По совпадению, достаточно объяснимому немногочисленностью акбулакских воспитанников, Юра и Саша были друзьями еще там, в далеком от Москвы Акбулаке. Разве не украсят сцену эти два друга-разбойника, если окажутся вместе в одной программе на одинаковых ролях? Разве не укрепится тем самым образ «Ласкового мая»?

В общем, какое-то время я находился в прекраснодушнейшем заблуждении, что «Ласковый май»… пусть не мой, как прежде, но наш. Наш!

Я даже смирился с тем, что Разин из администратора стал солистом «ЛМ». Произошло это так. Как-то он сказал, неплохо бы и ему поиметь собственный альбом… Мол, и на эстраде в свое время блистали, и поклонниц преданных имели… Я шибко сомневался в голосовых данных Андрея Александрыча, но все же согласился на такой альбом. Правда, с одним условием: ни в коем случае не выдавать этот альбом как «ласковомаевский». Он согласился. С горем пополам мы записали несколько песен

(«Старый лес», еще кое-что). И вдруг я с удивлением обнаруживаю, что этот альбом подан как очередной альбом «Ласкового мая». Меня это надолго вывело из себя. А потом свыкся, плюнул на это дело: солист ну солист…

Однако прекраснодушествовал н недолго. Все ясней и ясней становилось: нет, не наш этот новый «Ласковый май», а их. Вновь и вновь приходилось убеждаться, что наши администраторы часто не могут провести черту, где, что можно в моральном плане, а что нельзя, часто переступают эту черту… Да, натиск, пробивные способности, чувство конъюнктуры, самодисциплина — это, вероятно, хорошо, но когда все это хозяйство не дружит с совестью…

Я не знаю, кто виноват, но сложнее стали наши взаимоотношения с Юрой Шатуновым. И хуже. Он стал тянуться к Разину и Кудряшову, стал с ними откровеннее, чем со мной. Собственно, любой музыкальный «колхоз» должен быть добровольным, и любой волен выбирать, к кому тянуться и с кем общаться. Но Юра вдобавок начал всем демонстрировать свое плохое отношение ко мне. Может, он видел уже, что наши с Разиным дороги расходятся, и торопился таким образом определиться?.. Хотя, не буду гадать… Он стал вести разговоры, причем за глаза, что композиторы — это люди временные… Что одного в любое время можно поменять на другого…

Это его слова, Юрины…

Кто для него в то время казался главным? Не знаю, надо спрашивать у него самого. Может, директор группы, может — администратор…

Потом он взялся утверждать, что песни, которые исполняет, написал он сам. Мол, я их только аранжировал.

Что угодно, но песни свои я никому не отдам и не устану об этом повторять. Они для меня самое дорогое.

Подобное отношение Шатунова ко мне сковывало меня, мешало работать. Разин и компания ждали от меня новых вещей. Я же знал, что какие-то из них придется исполнять Шатунову, и чувствовал себя закованным в лед… Не могу я так… Просто физически не могу написать песню для того, кто ко мне плохо относится…

В общем, все пошло как-то не так. Я остро почувствовал, что там нужен не я, а нужна моя башка, которая выдает какую-то продукцию. Конкурентноспособную продукцию. А песня — это не продукт. И композитор — это не конвейер.

И я решил уйти. В марте 1989 года мы с Сашей Прико записали альбом «Взрослые», первый Сашин альбом (туда вошли песни «Все», «Взрослые», «Медленно уходит осень», «Розовый

закат»; последнюю песню Разин переименовал в «Розовый вечер» — это уже когда они скупили наш магнитоальбом и на «минуса» наложили шатунонский голос).

Когда работа над «Взрослыми» закончилась, я сказал Разину:

— Вот теперь я ухожу. У меня появился солист, с которым мне интересно работать. У меня есть идея собственной группы. И у меня нет желания, чтобы мое имя связывали с твоим «Ласковым маем».

— Хорошо, — сказал Разин. — Уходи. А с оплатой твоих песен поступим так: ты записываешь с Шатуновым еще один альбом, напоследок, а мы тебе за это будем каждый месяц выплачивать определенную сумму. Несколько лет подряд.

— Ребята, — говорю я, — не надо привязывать меня к себе на несколько лет. Давайте я запишу Юре новый альбом, а вы заплатите мне всего лишь за четыре месяца, но сразу после окончания работы. И больше я от вас ничего требовать не буду.

Они говорят: нет!

Ну, нет, так нет! Все! Я ушел!..

Потом они выпустили новый альбом. Там на фоне моей музыки идет вступление: Кузнецов, мол, музыкальный рэкетир. Затребовал с Юры Шатунова 100 тысяч рублей. У нас нет таких денег, поэтому мы решили с ним расстаться… А дальше идет опять моя музыка и мои песни. Хо-ро-шо!..

После моего ухода Разин стал шить на меня уголовку.

Есть вещи, которые нельзя прощать… Юра еще раз вспомнил свои оренбургские навыки обращения в суд и сделал то, на что его подтолкнул Разин: начал писать разные заявления на меня… Теперь уже в московские инстанции…

Это его проблемы.

Можно простить, когда человек предал тебя один раз. Даже это можно. Но второе предательство непрощаемо.

Я не о Шатунове конкретно. Но и в отношении Шатунова: это предательство — которое ни-за-что!..

Я не желаю Юре ничего плохого. Я желаю ему только хорошее. Но помощи от меня — никакой… Даже если ему будет очень тяжело. Я не смогу. Не сумею. Для меня это невозможно.

Вместо последней главы:

Ты просто был
Откуда знать, с кем ты теперь
И кто твой друг,
Что не забыл, что все же помнишь.
Я много знал друзей.
Но повстречавшись вдруг
С таким, как ты,
О многом понял.
Ты был правдивей всех со мной,
И столько раз
Напрасно злился и на правду —
Ты был из тех, кто не бросал
Похвальных фраз.
И был со мной всегда на равных.
Ты просто был
Частицею меня.
Хватало сил
Терпеть мои капризы.
Ты просто был
Из правды и огня.
И не любил
Почтовых писем.
Мы затевали полуночный разговор
О том, что зло имеет маску,
О том, что дружба продается с давних пор
И друга ложь всегда опасна.
Откуда знать, где ты теперь
И кто твой друг,
И нас ничто не может сблизить.
Ты так внезапно изменил весь мир вокруг
И не любил почтовых писем…

И, в заключение

Вот и все. Наша «Мама» живет и работает. Нас у «Мамы» шестеро. Кроме меня, это — Саша Прико, солист, Игорь Игошин, барабанщик. На клавишных инструментах Сережа Седов (он, из того же детского дома в Акбулаке). Саша Ларионов — это гитара. Саша перешел к нам из группы «Магнит». Недавно в группе появился второй солист — Саша Семернин (как-то мне предложили прослушать юного москвича из интерната № 19.Мне этот эрудит, который в основное время изучает в интернате хинди, понравился, и я записал ему две песенки, сейчас пишу еще).

Материальное положение у нас не ахти. То благополучие, которое было в «Мае», — кончилось. Мы теперь работаем изредка, обычно в месяц — один город, одни гастроли. Не потому, что нет работы (приглашений куча!), просто не хочется суетиться. И распространением альбомов занимаемся мало.

…Как-то перед прошлым Новым годом мы отлучились из дома на два часа. Возвращаемся и видим: все стены подъезда расписаны приветствиями, ругательствами и прочими «неандертальскими» лозунгами. Поклонники… Я прикинул, во что мне обойдется ремонт подъезда. Посокрушался. Но где-то в душе шевельнулась радость: «Мама» выплывает из небытия, «Мама» кому-то нужна…

…В этих заметках я не сказал всего. Мне страшно, что вдруг из-за лишней моей болтливости не будут выпущены те песни, которые мне еще предстоит сделать.

Кое-что не могу сказать по тем соображениям, что еще не пришло время. К некоторым вещам общество еще не готово. Когда-нибудь расскажу. Если доживу, конечно.

А пока… До встречи на концертных площадках, многотерпеливые мои читатели…